

Давид Айзман

Их жизнь, их смерть



Давид Яковлевич Айзман

Их жизнь, их смерть

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2593815

Аннотация

«Через два месяца после своей свадьбы Эрнестина родила. Муж ее, Жюль, был в поле, пахал. Когда стало смеркаться, он выпряг лошадей и вывел к дороге. Лошади были: Маркиза – большая кобыла, серая, в яблоках, и Гарсонэ – тощий и мелкорослый белый конек, с сильно загаженными задними ногами и с хронической язвой на шее. На Маркизу Жюль сел, как на диван, свесив обе ноги на левый бок, и поехал домой...»

Содержание

| | |
|------|----|
| I | 4 |
| II | 8 |
| III | 14 |
| IV | 18 |
| V | 23 |
| VI | 29 |
| VII | 32 |
| VIII | 35 |
| IX | 36 |

Давид Яковлевич Айзман

Их жизнь, их смерть

I

Через два месяца после своей свадьбы Эрнестина родила. Муж ее, Жюль, был в поле, пахал. Когда стало смеркаться, он выпряг лошадей и вывел к дороге. Лошади были: Маркиза – большая кобыла, серая, в яблоках, и Гарсонэ – тощий и мелкорослый белый конек, с сильно загаженными задними ногами и с хронической язвой на шее. На Маркизу Жюль сел, как на диван, свесив обе ноги на левый бок, и поехал домой.

Четвертый уже день Жюль не пьян. Вчера очень мало выпил, сегодня утром хлебнул стакана три, да с собой в поле прихватил литра полтора. Только и всего. А теперь шестой час. Пора двигаться. Надо поскорей добраться до деревни, насыпать коням овса, да и самому пожевать. Старый Виар привез новое вино, говорит, по случаю приобрел особенно хорошее, – надо попробовать.

– Вперед, Маркиза! чего икаешь?..

Позади мостка, немножко дальше мери, на крыльце мясной, стоит свояченица Жюля, мясничка Мари. На свою сестру Эрнестину, жену Жюля, она совсем не похожа. Она толстомясая, с двойным, белым подбородком, очень опрятная, расфранченная, и прическа у нее пышная, с гребешками. Стоит она здесь и высматривает, не возвращается ли с вокзала Монсель, агент по продаже земледельческих машин, ее любовник. Что то не видать его! А уж поздно, последний поезд. Темнеет. Моросит дождь. Пастух Христиан гонит с поля овец. Из ворот выбегают бабы забирать своих. Под большим зонтом, громко крича и стуча деревянными башмаками, гонится за убегающей черной овцой тонконогая девочка в черном. На станции, с натугой и хрипло, точно он изрядно выпил, свистит паровоз, и ложатся на мокрую, темнеющую дорогу желтые полосы от зажженных фонарей.

– Э, Жюль! – кричит мясничка Мари: – ты еще не знаешь?..

Сваяченицы своей Жюль не долюбливал. Разные счеты были и дразги. Она думает, что если она богата, то ему на нее наплевать нельзя. Пузо у нее большое. Ну и пусть ее любовник радуется... Не пашет, не косит, не молотит, в лес хворост в снопы связывать не ездит, сидит в мясной за выручкой, вот и вся работа. Если бы Жюлю за выручкой сидеть, у него пузо еще не так бы вздуло. Дрянь баба. Мужу рога ставит, каких не имеют и его быки, да его же еще и лупит. С такой стервой разговаривать?.. Вперед, Маркиза!

– Жюль! – опять кричит Мари: – тебе уже говорили?.. Эрнестина родила.

– Эрнестина?.. Какая?..

– Как «какая»? Чурбан ты. Да твоя же Эрнестина, жена твоя.

– Моя Эрнестина?.. Стоп, Маркиза. Стоп!

Жюль медленно соскользнул с хребта кобылы и лицом обернулся к мясничке.

– Родила?!.. Уже?..

Мари рада была позвать зятя. И оттого, громко расхохотавшись, она на всю улицу крикнула:

– А зачем ей откладывать? И то долго уже... По моему расчету, ей бы как раз в день венчания родить следовало.

Жюль стоял, широко расставив крепкие ноги, смотрел в землю и соображал.

– Родила... Вот оно... А?.. Родила?.. Вот, стало быть, уже и родила.

Маркиза много работала сегодня, сильно устала и проголодалась. Роды хозяйки и разговоры о них ее не интересовали, и она спокойным шагом направилась домой. Сделав два-

три политических движения хвостом и робко оглядываясь на Жюль, последовал за подругой и малодушный Гарсонэ.

...«Вот так, – думал Жюль. – Родила?.. А?.. Значит, родила... Взяла, значит, и это самое... и родила»...

Теперь, стало быть, будет возня?

Да, теперь будет.

Возня будет здоровая.

Жюль не любил осложнений, не любил забот, не любил думать, и терпеть не мог разговоров. Иной раз оно бы и ничего, поговорить и занятно, да кто его знает, морока ведь... Например, чем кроликов поить, чтобы обильнее плодились; или отчего у лошади копыто потрескалось, – об этом бы поговорить ничего, можно. И о том, что вот, пошел ливень и косить помешал, тоже можно бы: – но нужны слова, – все разные слова... Бог с ними совсем!.. Вот когда за сохой, или, скажем, когда домой едешь, – и ни о чем хлопотать тебе не надо... Мысли спокойные. «Вот лес на горе, а под горой красные крыши... Колокольня высокая... Серая она, колокольня эта самая... всегда она серая... От дождей какое озеро на лугу сделалось!.. Во дворе у мэра бугай мычит... Бугай ничего, здоровый бугай, бугай как следует... У старого Виара вино по случаю куплено. Говорит, хорошее очень вино... Надо отведать... Вот лес на горе, а под горой красные крыши»...

Спокойно и не трудно.

Но подлая Мари, – вот она! – явилась, и сейчас и то, и се... новости разные... «Родила Эрнестина»... И чего ей надо, туше проклятой!..

Маркиза и Гарсонэ поджидали хозяина у ворот конюшни. Лошади были мокры, и от боков их кверху подымался белый пар. Конюшней служило продолжение квартиры Жюля, и сообщалась она с нею дверью. Дом был каменный, двухэтажный и крыт был тоже камнем – почерневшими от времени плитами, которые местами обросли плотным ярко-зеленым мхом. В доме была дверь на улицу и одно окно. Верхний этаж был недостроен, и там хранился овес, пучки хвороста и сено. Перед домом, у самого входа, лежала огромная и высокая, аршина в два, плоская, прямо обрезанная куча навоза. Из нее вытекал и вился мимо двери коричневый ручеек, похожий на жидкий деготь. Навоз лежал давно, перепрел, перегнил, и оттого запах из ручейка шел такой удушливый, что у человека непривычного являлась тошнота, и приходило в голову, что лежит по близости сильно разложившаяся падаль.

– Стоп, Маркиза, стоп!

Жюль пролез под шеей кобылы, открыл ворота, и лошади вошли. Жюль привязал их, насыпал овса. В углу, за перегородкой, жила свинья, которую откармливали к Рождеству. Свинья была хорошая, молодая, и росла и жирела чудесно. Но что то сделалось у ней на груди, меж передними ногами, лишай какой то. Это надо осмотреть. Свинья, однако, не давалась. Она угрюмо захрюкала и отошла в угол. Жюль придавил ее коленом к стене и обеими руками обхватил рыло. Ничего, лишай залечивается.

– Ты свинка хорошая, – сказал Жюль и дружелюбно потрепал свинью за соски. – Жиреешь, как следует... Зад у тебя – прямо как у мяснички Мари, хороший зад...

Нужно было еще к кроликам пойти, подстилку переменить, но Жюль подумал, что это и потом можно. Родила Эрнестина, – надо посмотреть. Если уж родила, – надо.

Жюль вошел в дом, у дверей сбросил с ног деревянные башмаки и остановился.

– Эрнестина, ты родила?

Прямо против двери был огромный очаг. Огонь в нем разводили на полу, на железном листе. Несколько длинных жердей, перетянувшись поперек комнаты, едва тлели. Над огоньком, на толстой цепи, висел большой, обросший сажей котел. Перед очагом стоял стол с клеенкой, а над ним, в густом сумраке, смутно белели свесившиеся с потолка большие толстые плиты. Это сало. В октябре, на св. Мартэна, закалывали свинью, сало солили и вешали

на крючках. Так оно и висит посреди комнаты месяцами, грязное, запыленное, засиженное мухами, и каждый день от него отрезают сколько надо для супа...

У стены кровать, высокая и широкая. Над ней деревянный карниз, и к нему прикреплены занавески. Когда ложатся спать, занавески задергивают и спят точно в шкафу. Теперь занавески отведены в сторону, и за ними, на красной подушке, чернеет чья-то всклокоченная, густая шевелюра. Подле кровати, на табурете, стоит высокий светильник, медный, без стекла. Коптит он много, а освещает чуть-чуть. Но и при скудном освещении видно, что беспорядок в комнате поразительный.

– Вишь-ты... родила! – говорит Жюль.

Широкое в скулах и узкое к низу, усатое лицо его приняло лукавое, многозначительное выражение. Смекалка у человека водится! И баба, – хоть она, стерва, хитрая, – а мужа ей не провести.

Маленькие, голубые глаза Жюля весело искрятся...

– Значит, вот оно как, вовсе родила! – опять говорит он.

Косматая голова на красной подушке зашевелилась.

– А ты что же думал, кляча?

Что он думал!.. Вот сука! Что он думал!.. Много думал. На то голова, чтобы думать. Такой это инструмент, чтобы думать... А вот орать зачем? Родила – и еще орет.

– Ты не ори... Ты что же это?.. Ты почему родила?

– А ты не знал, что от этого рожают?

Вот тебе раз!.. Это штука!.. Это ей Богу штука!.. Это она правильно... Против этого не поспоришь... Рожают. Верно. От этого все рожают... Но только... все же... погоди-ка! Как же так?

– Как же это так... Ты родила?

– А кто ж будет рожать? Ты, что-ли?

Голос Эрнестины злой, гневный. Жюль морщится, дует из носа в толстые усы и отступает.

– Я?.. Я не буду... Зачем?.. Вот выдумает чего...

И минутку потоптавшись у дверей, Жюль опять приближается к кровати.

– Ну родила... А отчего ж скоро так родила?

Эрнестины злобно вспыхнув, приподнимается.

– Смеешь спрашивать?.. Кляча ты, падаль!

Светильник и мигающие огоньки очага тускло освещают худое, длинное лицо, над которым черной копной стоят густые, свалывшиеся волосы. Тонкие губы женщины крепко стиснуты, глаза сверкают злобой, и на длинной сухой шее напрягаются толстые жилы.

– Спрашиваешь, дьявол пьяный!.. А это что такое? А вот это что?.. А это вот кто сделал?

Эрнестины тычет пальцем в огромный синяк у левого глаза, в разбитую нижнюю губу. Она проворно высовывает из под одеяла обнаженную до паха ногу. Нога тонкая, костлявая, очень белая. Колено же сильно вспухло, и цвет его багрово-черный.

– Меньше б истязал и не вышиб бы ребенка, тварь подлая! Девять месяцев носила бы, как все люди. А теперь вот семимесячный, и он жить не будет.

Разве с женщиной столкнешься?.. Девять месяцев, семь месяцев, – она тебе всегда сосчитает. И еще орет! Как же ее не ударить? За дело, ведь, бьешь, – разве зря?.. Кто зря бьет? Это вот она, скелет безмясый, – осью, ступкой, шкурой бычьей, распятием, – чем попало... И без надобности. А мужчина – всегда когда надо... «Вышиб ребенка!» Разве ребенка можно вышибить! Ребенок внутри у матери прирос, он за кишки держится... Да чего тут разговаривать с ней!.. Пойти к старому Виару, и баста.

Жюль идет к своим деревянным башмакам.

А все таки Эрнестина что-то брешет, – думает он. – «Девять месяцев, семь месяцев»... Никто уж, кроме баб, и считать не умеет? Ого! Когда смекалка есть, так все сейчас можно увидеть. Еще как можно!

Разные мысли стали толпиться в голове Жюля. Интересные мысли. Но ухватиться было не легко, они не подчинялись. Рвались в сторону, назад пятились, – вот как кобыла Маркиза, когда иной раз запречь себя не дает, и ступает по оглоблям и копытами бьет по телеге...

Штука путанная – мысли свои собирать...

Семь месяцев, – размышлял Жюль: – Эрнестина говорит «семь месяцев»... А откуда же семь?.. И семи ведь нет... Два всего... с половиной, два месяца... Она брешет. Что то она тут брешет...

Жюль старается сосчитать. Хмурит брови, выпячивает губы, обросшие толстыми усами, бормочет, загибает пальцы... Пальцы короткие, толстые, кривые, как поздние осенние огурцы, и загибаются с трудом. Их надо придерживать согнутыми, иначе они выпрямятся, как молодая упругая ветка, если ее согнуть и не придерживать. Счет запутывается, и пальцев не хватает.

Однако, чего-ж! – решает Жюль. – В конце концов, чорт с ней, с Эрнестиной. Семь месяцев, девять, десять, – это все равно... Хоть бы и пятнадцать!

Жюль воткнул ноги в башмаки и, громко стуча по каменным плитам пола, пошел к дверям.

– Ты куда?.. Ты это куда?.. закричала Эрнестина и костлявой рукой гневно ударила по постели.

– Ты в кабак?!

– Молчи, верблюды!

– Ты смеешь итти в кабак?

– Не твое дело, верблюды!

– Ты мне чего-нибудь принеси. Мне анисовки принеси... Ты принесешь?

Проснулся новорожденный и стал издавать какие то странные, жалкие звуки: не то он кашлял, не то давился.

– Ты принесешь?

– Хо-хо-хо!

– Ты там сам нажрешься?

Жюль обернулся лицом к родильнице и не громким голосом, спокойно, не спеша, промолвил:

– Верблюды. И отчего ты не издохнешь?

Эрнестина схватила медный светильник и с размаху швырнула им в мужа. Но дверь за Жюлем уже запахнулась, светильник ударился в дверь, а потом шлепнулся на пол.

II

Могильщика Жако надули.

Его, как последнего мальчишку, надули, и он этого нисколько не скрывал. Да и то сказать: зачем же скрывать? Зачем покрывать мошенников?

Добросовестность, порядочность – это прежде всего, – рассуждал он. – А тут... Хорошо! Пусть посторонние рассудят: плату человеку назначили не помесечно, как это всегда практиковалось, как следовало бы, – но поштучно, за каждую могилу в отдельности. А потом взяли и перестали умирать. Честно это? По совести это? Могильщику, что же жить не надо?.. А никто не умирает, и третий месяц никому не надо могил.

Жако имел необычайно широкую, сильно согнутую спину, огромный, горбатый нос, круглую, серую бороду, которую в иные воскресенья расчесывал, и ко всему этому – бас, такой же глубокий и темный, как и его могилы. Должно быть, дошел этот бас и до бога, и в неограниченной мудрости своей всеблагий рассудил, что с могильщиком уж лучше не ссориться. Итак рассудивши, исправил свою ошибку и поступил совсем уже по иному: в одну неделю в деревне скопил четырех человек. По божески поступил.

Теперь Жако заплатил в кабаке старика Виара все что был должен, а остальные из заработанного на четырех могилах пропил. После этого стал пить в долг. Пил виноградную водку и сливную, пил кислое красное вино, пил вино белое, но главным образом пил абсент.

– Абсент, – это то, что нужно, – доложил Жако Жюлю, сидевшему с ним за столиком. – Абсент, это абсент. А водки эти, ликеры, – пустое, одно рассуждение, и в них нет никакой крепости.

Анаиза Виар, дочка кабатчика Виара, сидевшая за стойкой, обиделась.

– Как «нет крепости»?! В нашей виноградной шестьдесят градусов.

Жако поднял голову, правый глаз закрыл, а левым подмигнул Анайзе.

– А в тебе самой, моя крошка, сколько в тебе градусов?

Девица Анаиза Виар ростом была вдвое выше Жака, а лет ей было что то около сорока пяти. Со всеми парнями деревни и со всеми проезжающими она, на весьма сходных условиях, вступала в более или менее кратковременное сожитительство. В последнее время, однако, она до такой степени износилась и облезла, что распродажей ее остатков, даже и по крайне пониженным ценам, уже никто не интересовался. Ласки ее встречали упорное сопротивление, и на них, как и на могилы Жако, совсем не было спроса, даже и среди стариков.

– Ах, я и забыла, – жеманно щуря глаза, вскрикнула Анаиза, поворачиваясь к Жюлю. – Тебя, ведь, поздравить надо, ты сделался отцом.

Жюль исподлобья посмотрел на Анайзу и икнул.

– Отцом?.. Ага... Ну да, сделался... Поздравляй... А вот видишь, стакан пустой? Пустой, – значит надо налить...

– Что ж у тебя: наследник или наследница?

– Чего?

– Мальчика родила Эрнестина, или девочку?

Жюль уставился на стакан с абсентом, подумал и сообразил, что не знает и сам.

– Мальчик или девочка – это все равно, – разъяснил Жако. – Одна цена могилы, хоть и для мальчика, хоть и для девочки.

– Девочка, мальчик – это все равно, подтвердил Жюль, икая.

– Девочка вырастет – шлюхой будет. Сын также чорт знает чем сделается, – рассудительно гудел бас могильщика.

– Видишь ли, Жюль, – лукаво ухмыляясь, начала Анаиза, – тут вот говорили, что Эрнестина какое то чудовище родила.

Жюль поднес было стакан к усам. При последних словах Анаизы он стакан поставил обратно на стол и ничего ни говоря, уставился на кабатчицу.

– Чудовище? – спросил он шопотом.

– Да, кто то говорил... не помню кто... Кто то проходил здесь и сказал. Пол лица человека, пол лица рыло. Вроде как у свиньи рыло.

«Ну! Правда?.. Вот здорово!.. Это очень здорово, чорт возьми!.. Про таких уродов слышали уже... Даже рассказывают, с копытами рождаются, и хвостатые. Иной раз – шерсть. И шерсть и хвост»...

– А, ты это не врешь, Анаиза? – уставился Жюль на кабатчицу.

– Сама я не видела, – невинно опустив глаза, ответила Анаиза, – но кто то здесь рассказывал.

Кто мог рассказывать? – спросил себя Жюль. Соседки? Ну, значит, и налгали. Соседки всегда лгут. И Анаиза лжет. Ну хорошо, это, однако, можно и проверить.

Это не то, что другое что-нибудь!.. Другое – сказать скажут, а правда ли, ложь ли, никогда и не узнаешь. Тут узнать можно. Домой пошел – и узнал. Только и всего. Тут можно.

– Где моя дочка? – задумчиво прогудел вдруг Жако. – Раньше она в Нанси с офицерами шлялась... Известно, – заразилась, в больницу легла. А Гастон тоже: как военную службу окончил, поступил на железную дорогу и седьмой год я от него писем не вижу...

– Да что писать то! – дразнит старика Анаиза.

– Э! Кабы у его отца заводы были, как у графа де-Бюржа, или ферма богатая, вот тогда бы Гастон написал, – с грустью говорил могильщик. – И приехал бы к отцу. А могильщик зачем?.. Налейка-ка, Анаиза!.. Могилу ему и там выроют.

– Могила что? Могила есть везде, – объяснил Жюль.

– Такой товар, что везде найдешь, – согласился Жако.

– Где угодно.

– Есть земля, есть и могила.

Жюль подумал и потом сказал:

– Уж если земля есть, то есть и могила.

– Земля, да заступ, – вот и готово.

– А ты что думал? Могила?.. В земле вырыл, вот она и могила.

– Уж не иначе, – прогудел Жако. – Это всегда так. Там что другое может и не так, а тут дело верное.

Жюль отхлебнул абсента.

– А то как же!.. Вот говорят: то, се... а я свое знаю, и меня не обманешь. Я без ошибки.

– Зачем ошибка? – Жако насыпал в трубку табаку и закурил. – Ошибки не надо.

– Потому, я понимаю дело! – почему то начиная раздражаться вскрикнул Жюль. – У меня, у самого, смекалка есть!

– А что если про могилу сказать, так она есть везде.

– Могила, – она не то что... Могила... она – могила... Могила, и больше ничего!

Ну, это поймет всякий: так, вот, сразу, вопроса не исчерпаешь. Но кое-что все таки было проанализировано и разъяснено довольно детально. И не мало еще света пролили бы на дело собеседники, если бы не впуталась Анаиза.

– Господа! Какой абсент по вашему лучше: шомонский или лангрский?

Жако вынул изо рта трубку и с недовольным видом посмотрел на кабатчицу.

– Лангрский. Куда ж ему? Шомонский, по моему, лучше.

– А многие говорят, что никакой разницы нет, одинаковы.

– Какая же там разница? все равно, и от лангрского пьянеешь, и от шомонского, – согласился Жюль.

– Вот только что шомонский как будто чуточку темнее, сказала Анаиза.

– Нисколько не темнее!.. Темнее? Выдумали!

Всякие свинства люди выдумывают: лангрский абсент, шомонский; темнее, светлее, – чорт знает что! Почему темнее? Ничего не разберут, а лезут.

– Никогда не может лангрский абсент против шомонского! – вскрикнул Жюль! И лицо его выразило злобную обиду. – Лангрский!.. Понимают они! Я бы им показал «лангрский»... Дураки!..

– А если темнее, то разве лучше? – спросил Жако.

– И не темнее, и не лучше! Кому другому пусть рассказывают, а со мной нечего тут!.. Я дурак, что ли? – закричал Жюль.

Глаза его сделались такими гневными и сумрачными, что Анаиза сочла необходимым успокоить оскорбленного человека.

– Боже сохрани! Кто же говорит?..

А не говорят, так пусть и не говорят... Какого чорта! Всякая сволочь будет соваться, а почему – неизвестно... Не понимают, – пусть спросят людей знающих. Объяснить всегда можно...

– Ты вот налей мне два стакана! – скомандовал Жюль: – и я тебе сейчас докажу. Я как две капли воды докажу. Я никого не испугался!

Он встал и с вызывающим видом пошел к стойке.

– Наливай два стакана!

... – Вот видишь! Вот он, лангрский твой, – говорил Жюль, когда два стакана абсента стали перед ним на цинковой доске стойки. – Вот он стоит, лангрский... А это вот шомонский. Видал? Вот шомонский, а вот лангрский... Вот и смотри...

– Ну, смотрю.

– Видишь лангрский? Видишь, какой он? Он – вон он какой. А шомонский – вот смотри! Видал? Ага?.. Посмотри-ка! Ага!.. Совсем уже не то. Где же? Этот вот, он – вот!.. А тот – вон он!.. Разве не видать?.. Вот этот вот – шомонский...

Жюль тыкал коротким, толстым и кривым, как поздние огурцы, пальцем то в один стакан, то в другой.

– А этот вот – лангрский. Разница?.. Ага! Потому, этот, видишь, какой он? Ты гляди! Он совсем не такой. Тот – другой, а этот – опять другой... Ты смотри, не правда ли, он – вот он! Вот, ты видал? Стало быть, он – такой, а тот уж совсем не то... Шомонский то твой. Этот – он вот, вот же он! А тот... А что? А!

– Да-а, – равнодушно протянул Жако: – этот не так, чтобы... шомонский...

– Ну, так и не спорь. Ты со мной не спорь...

Победа была полная. Отрицать ее не было возможности. Могильщик сдавался. Обида в сердце Жюля сразу погасла, и он вернулся к столу.

– Меня не обманешь, – горделиво подмигивая, заявил он: – не такой я человек! Я никого не боюсь. Потому я знаю, что говорю. У меня смекалка есть. Я если не знаю, так и не говорю. А если уж говорю, так меня не собьешь. Потому, я без ошибки...

– Такое дело.

– Я докажу! Взялся – значит, докажи. А то зачем и браться?

– Если не можешь доказать, не берись, – сказал Жако.

– Самое лучшее! Но только я всегда докажу. Я все докажу. Я, старичина, тоже... Я не спиной думаю... Налейка, Анаиза!

Дым от трубок такой, точно спалили в кабаке фунта три ваты. Много народу. Плисовые, с огромными треугольными заплатами, штаны, жилеты с рукавами, нанковые синие блузы, топорные физиономии, бритые, без усов. У порога пар десять деревянных башмаков, а возле них лужа. Громкая неуклюжая речь, – про навоз, про дожди, про картофель, про корову Лебрэна, которую, хоть ты его убей, не хочет любить бугай. Сальные слова, грубые

намеки, шутки, как глыбы гранита и такой же гранитный смех. Запах пота, абсента, вина, сыра, которым закусывают, и запах навоза. Звон пустых и полных стаканов и тусклое сверкание напитков в них.

К Жаку и Жюлю подсел дедушка Зозо.

Он коротенький, толстенький человек, с розовыми, как у девушки, щеками, с голубыми глазами, с круглой, шелковистой каймой седой бороды под челюстями, – от уха к уху. Усы сбриты, лысая голова как шар, а живот – котел. Это самый большой живот в деревне, если даже считать и мясничку Мари. Жюля дедушка Зозо поздравляет с новорожденным, Жако с покойниками.

– Докторша мне все дело гадит, – ворчит своим томным басом могильщик: – житья из за нее не стало, никто не помирает.

– Докторша хорошая, – говорит дедушка Зозо: – дело свое знает.

– Отчего ей и не быть хорошей? – Жако вынимает изо рта трубку и с досадой плюет. – Ей что? Помрет больной – ей платят. Выздоровеет – тоже платят. А я? Много я получу, когда человек выздоровеет?

– А все докторше приятнее, когда вылечит, – замечает Жюль: – заплатят лучше.

– Чорт ее принес сюда. Сидела бы в своей России, – нет, к нам приехала.

– Потому что в России лед, – сообщил Жюль.

– И казаки, – вставил Зозо.

– Всех вылечивает, – мрачно продолжает Жако. – Старого Мишеля, и то опять на ноги поставила. Чего не помирает? Будет с него.

– Восемьдесят девять лет, – соглашается дедушка Зозо. – Пора...

– Я вот сколько жду его, а докторша все за визиты получает.

– Много они понимают, доктора эти.

– Анаиза, мне вина! – заказывает Зозо. – Доктора?

Воры доктора. Пришла вот докторша к старому Вуарену из Аллианвиля, а Вуарен двенадцатый день без стула, живот ему, как у беременной коровы, вздуло.

– Вот бы распороть живот да спаржу удобрить, – проектирует Жюль.

– Пришла докторша и сует ему под мышку стеклянную трубку. Ну что это такое? Что тут стеклянная трубочка поможет?

– Не под мышку хоть бы совала, – намекает на что то Анаиза и хохочет: может оно бы и помогло.

Хохочут все.

– А Вуарен, знаете, не постеснялся и прямо говорит: «уж мне эту трубку совали, и ничего не помогло».

– От всех болезней одинаково лечат, – презрительно вставляет Жюль. – У меня понос был, тоже этой трубкой лечила.

Люди бывают глупы. И невежественны. Постоянно пашут, со скотом постоянно, и образования нету... Могильщик Жако насквозь видит всю их темноту.

– Дураки вы, – заявляет Жако: – это не трубка, а градусник. Инструмент, такой инструмент. Чтобы градус болезни узнать, инструмент. Там такая стрелка есть, и показывает.

Жюль протестует:

– «Стрелка»! Какого только мошенничества не выдумают, чтобы у людей из кармана су выуживать!.. Распахали бы гектаров с десятков, тогда и знали бы... «Стрелка»! А что по стрелке этой видать?

– Говорю тебе, Жюль, ты болван, – отстаивает права науки Жако: – все видать по стрелке, какая болезнь, какая кровь, где засорение, и сколько градусов... Мой Гастон в полку воспалением легких болел, и у него градусник уж тридцать семь градусов показывал. А самое большее человеку сорок градусов дано. Уж когда сорок – конечно! Рой могилу...

– Ну? – недоверчиво восклицает дедушка Зозо. – Сорок? И у Гастона уже тридцать семь было?

– Тридцать семь... Без малого тридцать семь, без половины. Чуть не умер парень.

– От градусника и умрешь, – убежденно заявил Жюль. – Гастон молодой, он и выдержал, а старику начни ка тыкать эту стрелку твою – всегда помрет.

– Ты, Жюль, болван!

– Нет, я не болван!

– Еще какой болван!

– Нет, я не болван. Я тебе докажу, что я не болван.

Еще приходят люди. Башмаков у дверей набралась целая гора. В густых облаках дыма покрасневшие потные физиономии. Галдят, чокаются. Звон стекла, смех, икота. Смачно сосут трубки, громко плюют, толкаются. Стучат кости домино, звенит по цинку стойки брошенная монета. Испарения от алкоголя, испарения от закуски, испарения от людей и копоть ламп. Анаиза Виар угощает абсентам Абея, молодого кучера, и впиваясь в него жадно сощуренными глазами, настойчиво просит посветить ей в погреб. Жако и Жюль пьют. Обсуждают разные вопросы – мало ли у людей вопросов и пьют. И остальные все тоже пьют.

А время идет, – думает могильщик Жако: – такую уж оно имеет особенность, что оно идет. Там, делом человек занят, или, может быть, с приятелем закусывает, или так себе, без надобности прогуливается, а оно – господь с ним! – оно все идет да идет. И уж тут трудно что-нибудь сделать, очень трудно.

Вот полночь.

Одним из последних Жако и Жюль оставляют кабак.

Они идут под руку и рассуждают, оба сразу. Чертовски темно на улице. И грязь. Как только дождь, так и грязь. Всегда так... И здорово же скользко, чорт возьми! Если откровенно сказать – это свинство большое. Надобно, чтобы не было скользко, – чтобы людям было удобно ходить. Черт знает что! Республика! Вот и республика!.. Да, а старый Мишель не помирает! Докторшу требует?.. Ну это пустяки!.. Не поможет ему! Хоть докторша, хоть землемер, хоть начальник станции – ничего не поможет... Помирай! Надо помирать. А не помрешь – хуже будет! Что в самом деле?! Пятьсот лет – это ведь только праотец Адам столько жил... Будет хуже – и конец. В тысячу раз хуже будет, – кляча старая!..

Однако, надо расставаться.

Не все могут жить направо. Жако живет направо, возле кузни, а Жюль – он прямо, против церковного сада. Надо итти прямо, – говорит Жюль темноте. Анаиза тоже сказала, что надо прямо итти. Всего не упомнишь, – отчего же не справиться? Жюль справился у Анаизы насчет того, где он живет, и она сказала: «прямо, прямо». Анаиза знает, – убеждает темноту Жюль. – Анаиза бедовая девка! Она все знает. Она шлюха, но все здорово знает... Стоп! Осторожнее!.. Вот чорт!.. Это телега?.. Ага, телега!.. Зачем поставили телегу?.. Нет, это забор. А забор с какой стати?.. Сволочи, забор надо? В морду, вот и забор. И Анаизе надо в морду. Почему она говорит, что Эрнестина родила чудовище? Пол лица как лицо, а пол лица как рыло?.. Рыло? А, мерзавка!.. У человека – новорожденный, у человека – первенец, господь человеку сына послал, а Анаиза – оскорблять?! Пол лица – рыло? Пойдите-ка: за это по морде...

Жюль в бешенстве идет прямо вперед, к оскорбительнице. Но сделав два-три шага, он натывается на чью то вытянутую вперед руку, и в это же время другая рука быстро схватывает его за чуб и дерет, – с такой силой, что дикий визг вырывается из горла бедного пьяницы.

– Анаиза... Эрнестина... Голубушка... Не буду...

Жюль летит на другой конец комнаты и спиной ударяется в дверь: силы у Эрнестины, не смотря на то, что она родила несколько часов назад, еще водятся.

– Вон в конюшню! – Кричит она.

Подле Эрнестины, на табуретке, где раньше стоял только светильник, теперь светильник и две бутылки. Одна уже опорожнена, в другой вино доходит до половины.

– Эрнестина... жена моя... дружочек!..

Эрнестина откидывает назад голову, горлышко бутылки приставляет ко рту. Глу-глу-глу...

Жюль смотрит – и негодование опять приливает в его сердце.

– Пьянствовать?.. Ты смеешь?.. А свинью зачем родила?

– Вон в конюшню!

– Нет, зачем ты свинью родила?

– Уходи, пьяница!

– Пол лица – лицо, пол лица – рыло?.. Не желаю!.. Я покажу...

Отделиться от двери – дело не легкое. Но Жюль преодолевает и эту трудность. Он выпрямляется, сжимает кулаки, выставляет вперед голову и идет на бой, к жене.

– С хвостом?.. Копыта?.. Ты как смела?.. Я с хвостом не желаю... Я покажу копыта!..

Скользко бывает не только на улице, когда идет дождь, а и в комнате. Жюль скользит, поэтому, шатается, зацепляется за жерди, торчащие из очага, и с глухим шумом шлепается на пол.

– Ага, опять телега... Везде телега... Ну, вали в телегу...

Он лежит неподвижно, как прибитый.

– Не хочу с копытами, – начинает он всхлипывать через минуту: – Эрнестиночка... дорогая моя... не хочу со свиным рылом... Не хочу его...

III

Жили себе, как раньше.

Новорожденный, которого назвали тоже Жюлем, мало мешал. Он был крохотный, как щенок, какой-то бурый, весь в морщинах и в прыщиках. Лежит в корзинке и спит. А когда не спит и не сосет резинового наконечника бутылки, в которой молоко, то кричит. Много, страшно много кричит, и от крика этого должно быть еще сильнее делается боль, вырывающая крик. Так мучительно кричит он и плачет, что кажется – это голос самого страдания... Иной раз охрипнет малютка и станет басыть. Тогда похоже, будто это Жако рассказывает про могилы...

В корзине подушка и разные лохмотья, – все мокро, воняет, и маленькое тельце ребенка тоже воняет. Мясничка Мари подарила племяннику хорошенькое одеяльце, золотистое, с алой полоской, но через несколько дней оно сделалось таким же грязным и смрадным, как и тот, кого оно прикрывало.

Корзину с ребенком Эрнестина таскала с собой и в хлев, и в поле, и к общественному бассейну, где стирала белье. Она работает, а ребенок сосет резиновый наконечник. Сосать перестанет и примется кричать. А измучится от крику – заснет.

– Ничего, не хуже других вырастет, – отвечала мать, когда ей говорили, что очень уж от ребенка воняет.

Эрнестина была тощая, костлявая, слабосильная. Работала много, но трудную работу делать не могла. В детстве у нее сделалось воспаление тазовой кости, и теперь левая нога была точно вывернута в тазу. От этого Эрнестина на ходу странно приседала, – как будто падать собиралась, – а по лестнице она взбиралась с большим трудом. Случалось, что от сырости, или от неловкого движения, нога разболевалась, и тогда Эрнестина ходила с палкой. Она лечилась: натиралась мочей и «старинной мазью» – конским жиром, который сохраняли на чердаке в течение семнадцати лет. От него по всему телу делались чирья, через них «болезнь выходила наружу, и становилось легче»...

Однажды Эрнестина привязала две селедки к больному месту и забинтовала, но это совсем не помогло. Болтают люди всякий вздор, и Эрнестина только диву давалась: как можно верить в селедки. Она никогда уже не лечилась селедками.

Жюль работал как раб. Встанет, поест, – сала кусок, или сыру, или остатки супа, – вина несколько стаканов выпьет и с Маркизой и Гарсонэ отправится в поле. Дождь, холод, ветер, зной – он в поле проведет и шесть часов, и восемь, и двенадцать, сколько надо. Домой вернется и долго топчется дома, – хлебы месит, навоз на телегу нагружает, дробит камень для шоссе. Здоровье у него железное, он никогда не хворал, и устает он редко. Он не избалован, не знает нежностей. В доме у него воняет? грязно Ну, это пустое: воняет, или не воняет – это все равно. Не всем герцогами быть. Вон у свояченицы Мари не воняет, все чисто, и есть зал, а насчет любовников – мое почтение!

У Эрнестины любовников нет. Она безумно влюблена в мужа, – это раз. Никто на нее не польстится – это два. Жюль спокоен. Нету любовников. Но если бы были, то что ж? Есть любовники, нет любовников – это все равно. Ну, там, побить Эрнестину, отчего же не побить? Побить за такое дело всегда следует. Но только, в сущности, это все равно. И если бы умерла Эрнестина, это тоже все равно. И маленький Жюль если бы умер, тоже не велика бы беда. Вообще ни в чем большой беды нет. Об чем хлопотать!

Жюль живет спокойно, беззаботно, и огорчения у него какие же? Большим уважением или весом в деревне он не пользуется, но будь у него родство такое многочисленное, как у дедушки Зозо, его бы тоже выбрали муниципальным советником. Теперь не выбирают –

ну так что! Абсент от этого менее крепким сделался? Абсент всегда абсент, и выборов он не боится.

Жюль косил, молотил, пахал, стриг овец, работал в лесу и находил еще время возить докторшу на практику по соседним деревням. Пока докторша у больного, Жюлю выносят угощение, вина или водки. В одном доме, в другом, в третьем... Если угощением медлили, Жюль уходил в кабаки и угощался сам. Дело в том, что когда человек в пути, то не хорошо, чтобы горло было сухо. Работающему человеку вообще надо выпить. Белоручки всякие – это, конечно, другое дело. Пером туда-сюда, в книжках там, прощение какое надо написать, составить опись, – это и без выпивки можно. А человеку трудящемуся надо, чтобы был фундамент, чтобы по настоящему было. Человеку трудящемуся сила нужна. А без вина откуда же сила? От вина у человека кровь очищается. Маленький Жюль, недоносок, как козявка, еле живет, а стали ему красные вина давать, и пошел мальчишка расти. Дело известное!

С поездок Жюль возвращался пьяным на половину, дома он дело доводил до конца. Но и совсем пьяный, Жюль с ног не падал, и даже работал довольно исправно.

С Эрнестиной же было совсем иначе: она и пьянела скорей, а опьянев, годилась уже только для словесных упражнений. Упражнялась превосходно. Растерзанная, хромая, косматая, она ходила по деревне и во всю глотку выражала негодование по поводу того, что никто не хочет убить ее мужа. Когда человек так безобразно пьянствует, то его надо убить. И запереть его надо. Пусть докторша выдаст свидетельство, и этого подлого пьяницу сейчас же запрут в сумасшедшем доме. Вот и все. Если он пьяница, он опасен для всех, и таких людей всюду запирают и будут запирают.

Об этом она доводила и до сведения Жюля. Тот спокойно слушает, хихикает и икает. Время от времени, не торопясь, он посылает какое-нибудь подходящее слово: «стерва», «верблюды»... Эрнестина разозлится и, ковыляя хромой ногой, направится к мужу с человеколюбивым намерением треснуть его крышкой от котла по голове. Жюль подпускает ее довольно близко и потом, удовлетворительно нацелившись, бьет ступней в живот. Эрнестина отлетает прочь, стоящие позади нее предметы опрокидываются по сторонам, а она сама с диким ревом падает на них. Если на руках у нее маленький Жюль, он откатывается в сторону, и в то время, как Эрнестина воеет и ругается, а победоносный Жюль хохочет, маленький недоносок, голый, мокрый, окровавленный, разрывается от плача и визга. Его не подбирают, не успокаивают, и он вижжит лежа на камнях, долго – до тех пор, пока в глотке его все побагровеет и распухнет. Тогда голос его становится басистым и темным, и кажется, что это могильщик Жако говорит о могилах.

В воскресенье и в праздники было иначе. Жюль брился, надевал другую одежду. Варили суп из свежего мяса, а не из солонины. Больше пили и раньше начинались драки. В поле не выезжали, но дома работали.

Вывозит Жюль из конюшни навоз, а мимо идет Жако. На могильщике черный сюртук, шляпа-котел, глаженое белье, и виден из под бороды голубой галстук. В руках коротенький и толстый молитвенник.

– Второй раз прозвонили. Отчего к обедне не идешь?

– К обедне?

Жюль, напрягаясь, подсовывает вилы под толстый слой сильно утоптанного навоза.

– Зачем я пойду к обедне?

– Все же Пасха сегодня, богу помолиться.

Вилы с навозом подняты в воздух и затем опрокинуты в тачку.

– А твой бог отвезет мне навоз в поле?

– Отвезет, как же!

– То-то же! Он не беспокоится...

Жако задирает кверху голову, мотает ею, и под бородой распластывает галстух, к которому не привык и который стесняет.

– Богу зачем беспокоиться? Он у нас с ренты живет, ему хлопотать незачем.

– Он за меня работать не станет, – с мрачной серьезностью говорит Жюль, – ну и больше ничего.

– Он бы хоть работника своего тебе в помощь послал, – подмигивает Жако. – Святого какого-нибудь.

– Он себе свое дело знает, а я свое. Вот и все.

– Святого он бы, пожалуй, и не пожалел, да всех их за водкой услад.

– Вот и весь разговор, – по прежнему мрачно ворчит Жюль.

– Праздник, ему тоже сосать хочется.

– Он свое знает, а я свое знаю. Только и всего.

Жако корешком молитвенника скребет себя по шее, под бородой: мешает галстух!

– Старенький ведь бог. Кашляет... Может, и натереться спиртом хочет. Святую Магдалину позовет: на, скажет, Магдалина, натри мне поясицу спиртом.

– Докторшу бы позвал, – советует Жюль. – Она ему сейчас трубку свою всунет.

– Ах вы свиньи! И не страшно вам говорить такое? – кричит Эрнестина, показываясь на пороге. – Оттого вам и счастья нет, что вы такие пакости говорите.

– Да бог не услышит, – успокаивает Жако Эрнестину. – Говорят тебе, он старенький. Глухой, как кобыла тетки Мариолоты.

Тачка уже наполнена. По доскам, как по рельсам, Жюль вывозит ее на улицу и сваливает к огромной куче старого спресованного навоза. От свежего кверху поднимается белый пар. Жюль задумчиво смотрит на него и медленно произносит:

– Ничего... перепрел здорово.

– Кто это, бог? – спрашивает Жако.

– А?... Да нет, я про навоз.

– Ну, я думал, бог перепрел.

Жюль устал разговаривать. И надоело ему. Запутанное что то, сложное, а зачем?... Ничего, хороший человек Жако, подходящий. Но всегда разговаривает. Идешь в церковь, иди! Иди, когда идешь. А то останавливается, – и разговор.

– Бог что? – говорит Жако: – никакого от него толку. Звонишь ему в колокола, свечки палишь. Кюрэ морды бреют и без баб обходятся, – а какой толк?

– Толку никакого нет, – хмуро и из одной только вежливости, поддерживает беседу Жюль.

– Нигде нет толку... Во времена империи все это не так было. Хлеб, так он тебе был хлеб! Дрова – были дрова!.. А так, чтобы разное там, и все – этого не было...

И минуту помолчав, он начинает опять.

– Тоже и дети: теперь дочка – шлюхой делается. Теперь все чорт знает как идет.

Жюль молчит: не желает он утруждать свой дух! Но Жако не унимается.

– При Генрихе IV у каждого крестьянина в супе курица была. Да... А теперь – вот! Теперь машины пошли. Что такое, почему? – Неизвестно. А погоды портят: в конце апреля морозы. Четвертую весну в садах цвет замерзает, и погибли все фрукты, яблоки, сливы.

– Сливная водка дороже виноградной, – вставляет Эрнестина: – этого, кажется, никогда не было.

– Фабрики, заводы; фабрики, заводы! Трубы до неба, дым, копоть, облака от этого, тучи. Весь климат перепортили... Когда я мальчиком был, помню, всегда тепло было, а теперь – Сибирь сделали.

Тает в ясном весеннем воздухе благовест. В теплой лазури быстро несутся веселенькие облачка, а по улице спешат девушки в светлом и пестром, с зонтиками и молитвенниками. И бабы идут, одетые в черное, и крестьяне в сюртуках или в новых нанковых блузах.

На некоторых цилиндры, довольно дикой формы, впрочем, а у иных, помоложе, лакированные ботинки.

– В церковь все... Вон и старый Мишель выполз – сердито говорит Жако. – И до каких же это он пор!.. Второй год меня водит.

– Все живет, – сочувственно вздыхает Эрнестина.

– На прошлой недели совсем уже отходил, а теперь опять поправился. Все докторша эта... Ну, ничего, однако, долго не проходит. Уж вертись, как знаешь, малютка, а ты мой... И сейчас вот я его еще припугну... Он могильщика боится. Я пугну... Ему это хорошо... Здорово это ему.

Мишель, высокий, изможденный старец, с длинными седыми космами на плечах, с жалобным, как бы умоляющим лицом, с трясущимися руками и ногами, тихо топчется по солнечной стороне. Могильщика, скрытого выступом конюшни, он не замечает и подвигается вперед старчески-частыми, старчески-маленькими, в два вершка, шагами. Когда он подходит к дому Жюля, могильщик внезапно выступает из-за конюшни, делает шаг вперед и впивается в старика свирепым, укоризненным взглядом.

– А-ааа-аа! – кричит старик странным, нечеловеческим голосом. И всем длинным телом своим он поддается назад. – А-ааа-аа!

Последние угасающие силы уходят на этот крик. И слышится в нем дикий, мучительный ужас человека, увидевшего смерть... Крик так страшен и чудовищен, что Маркиза в конюшне пугливо мечется и бьет копытами о пол. А Жако делает еще один шаг к старику, останавливается, поднимает кверху указательный палец и, ни звука не издавая, медленно и долго грозит...

Старик трепещет. Судорожными руками ищет он позади себя опору. Нащупывает стену, припадает к ней, головой и плечами, весь неестественно вытягивается. Ступни его бьют по стене, глаза полны ужаса, рот широко раскрыт, и из него, не прерываясь идет все тот же, налитый безумием и тоской, мучительный, дикий хрип:

– А-ааа! А-ааа!.. А-ааа!..

IV

Маленькому Жюлю не было года, когда у него появилась сестра. Ее назвали Ирмой. Жюль перешел в кровать матери, а Ирма заняла корзину брата. Корзина к этому времени стала разваливаться, и ее вдоль и поперек перехватили бичевками. Вместе с ребенком и подушками она представляла какую-то с первого взгляда непонятную, серо-бурую, смрадную и грязную кучу. И все, что в доме было, – и самый дом, и маркиза с Гарсонэ, и Жюль с Эрнестиной, все было чрезвычайно грязно и дурно пахло. Не было, кажется, ни одного целого предмета, – все было изувечено, поломано, разбито во время драк. Вместо тарелок были черепки, склеенные рыбьим клеем. Металлическая посуда была измята и протекала. Ножи были без ручек, стулья без сидений, в комодке недоставало верхнего ящика, стенные часы стояли уже с полгода, фаянсовый циферблат был растрескан, а маятник отломан. Паутина, пыль и копоть были на стенах и на потолке, и везде ползли насекомые. Не чистили лошадей, а кролики оттого, что их содержали неопрятно, все передохли. Огород был в плохом состоянии, весь зарос сорными травами, и плохими были поля Жюля. Их не во время и неправильно унаваживали, и не во время вспахивали и засевали.

Работал Жюль, по прежнему, много, постоянно работал, но не все делал в свое время и беспорядочно. Эрнестина видимо ослабевала, – от пьянства, от родов, от побоев, от лечения... После рождения Ирмы, у нее, на протяжении пятнадцати месяцев, было два выкидыша, а спустя еще год, родилась девочка, которую назвали Луизой.

Все дети были тощие, хилые, и цвет лица их был белесоватый, как цвет слегка подсохшего теста. Маленький Жюль долго не становился на ножки, зубы начали у него показываться к двухлетнему возрасту, а ходить он начал только когда ему уже исполнилось три года. И говорить он долго не начинал, и думали даже, что он будет немой. Он все еще очень много плакал, громко, визгливо, и рвал и ломал все, что попадало под руку. Злость и жестокость в нем обнаруживались удивительные. Он кусался, вцеплялся людям в волосы, в бороду, бил детей, бил животных и неодушевленные предметы. Он не был горбатым, но при тонких ногах и руках имел необычайно массивный затылок, почти как у взрослого. Голова его склонена была книзу, и смотрел он в землю. Это придавало ему странное сходство с Жако и казалось, что он тоже оглядывает на кладбище место и соображает, как приступить к рытью могилы... Его, как свиней, влекло всегда к грязи, к канавам и лужам. Долгими часами он рылся в навозе, выкапывал червяков, накатывал их на палец и давил, хлопая ладонью в ладонь. У отца он крал табак и курил, а чего не выкуривал, сыпал в огонь и в котел, где варился суп.

Когда Жюль дрался с Эрнестиной, мальчик смотрел на драку с выражением радости; при особенно ловких ударах он всплескивал руками и восхищенно визжал. Мать угрожала ему, гнала прочь, но мальчик отбегал в сторону, радостно гоготал, высовывал язык и делал неприличные жесты.

Маленький Жюль болел глистами и извергал их из себя в несметном количестве. Как и от малокровия, течи из ушей и носа и постоянного расстройства желудка, – и от глистов его лечили вином. Обращались раза два и к докторше, но та поставила мальчику свою стеклянную трубку – это раз, и строжайше запретила давать ему вино – это два. Жюль негодуяще пожал плечами. Вот история! Ну, а что было бы с мальчиком без вина? Докторша молоко назначает. Но какая же в молоке сила? Оно в кровь не войдет, оно белое. А капли – это тоже одна болтовня. Капля, хоть бы и десять капель, – какое это может иметь влияние? Вина выпьешь стакан, вино разбежится по жилам в крови, – и вот и делаешься крепким.

Вина маленькому Жюлю за день давали стакана два-три. Но он вино крал и выпивал его сколько удавалось добыть. Ирма и Луиза тоже пили, хотя и не так много.

Ирма была тихое и забитое существо, странное и сложное. Родители почти не били ее, но маленький Жюль истязал немилосердно. Повалит на землю, лицом вверх, коленками станет на живот и бьет кулаками по мертвенному лицу, и рвет обеими руками негустые, светлые волосы. Ирма не сопротивляется, не защищается, не плачет, а только стонет протяжным, тихим стоном, и порою стон этот прерывается глубокой и напряженной икотой. Как будто зародилась икота где-то очень глубоко, и кто то намотал этот звук на кулак, как наматывает на него волосы сестры Жюль, и потом по прямой линии вытащил через горло, разорвав по пути все внутренности девочки.

Ирма была очень пуглива: боялась темноты, снега, старых людей, громкого шума; боялась оставаться одна, боялась, когда людей было много. Часто и беспричинно она вздрагивала, потом внезапно цепенела, и синие глаза ее делались при этом большими, круглыми и неподвижными – точно нарисованными. Она страшилась разговоров про покойников и испытывала ужас при виде похорон, – и почему то всегда за похоронами шла, на самое кладбище, и ни на минуту не уходила, когда Жако рассуждал о могилах... Слушала внимательно, напряженно, вся замирая. Зубы стиснуты, губы раздвинуты, судорога проходит по ногам и в узенькой спине, меж лопатками. И какое то неопределенное, загадочное выражение лежит на бледном, продолговатом лице девочки; может быть омертвление ужаса, может быть тайное блаженство, – жадное, нестерпимо сладкое предвкушение великого, всепокрывающего отдыха...

Маленький Жюль, угадав, что сестра боится темноты, хитростью или силой, вталкивал девочку в темный погреб и там запирал... Зимой он вставал рано утром, чтобы набить ей ботинки снегом... Маленькую Луизу он кусал, залеплял ей навозом нос, уши, рот. Раз и совсем зарыл ее в навоз, она уже стала задыхаться, и ее еле, еле спасли.

Когда Жюль стал ходить в школу, он там всячески пакостил учителю и товарищам. Мальчики жестоко били его, но он не унимался, рвал их книжки и тетради, обливал чернилами завтраки, и истязал всех, кто был слабее его... Однажды он поймал утку и стал выщипывать у ней перья. Утка отчаянно крикала и билась, а он радостно хихикал. Общипав наполовину, он сделал из подтяжки петлю и повесил утку на оглобле.

Он ходил скорчившись, сжавшись, вложив стиснутые кулачки в карманы куртки и придавив локти к ребрам. Смотрел он искоса, исподлобья, недоверчиво и враждебно, и похож был на злого пакостника-гнома. В нем было много недетского и чего-то нечеловеческого. По ночам он говорил со сна, садился на постель с закрытыми глазами и жестикулируя говорил, – громко, отчетливо, скаля зубы и болезненно корчась. И все, что он говорил, было запугиваньем, скотскими мечтаниями, зловещей угрозой. Зловещим он был во сне, зловещим он был на яву. В колючих, угрюмых глазах его, в неуклюжих движениях, в голосе – то пронзительно-визгливом, то хриплом и тупом, – притаилось что-то тяжелое, опасное и роковое, – и страшно было подумать, что мальчик этот вырастет. Он и теперь уже был злым вместилищем пороков и извращений, ходячим источником неприятностей и тревог. И клеймо преступления, черное клеймо жестоких и мрачных дел, уже и теперь явственно намечалось на его узком, как у старухи сморщенном, лбу.

Дети росли, как колючки на меже, никто за ними не смотрел, и никто о них не заботился.

Все трое были чахлые, загаженные, оборванные. Их никогда не купали, очень редко они меняли белье и ночью спали почти не раздеваясь, – чаще всего в обуви. Вши обсыпали их. У маленького Жюля выработался особенный жест: он выносил руки вперед, сгибал их в локтях и начинал отчаянно шевелить лопатками: это он чесался. Похоже было, будто он пилит, тащит пилу сверху вниз, и дети в школе прозвали его пильщиком. Часто он подходил к дереву, к стене, и начинал усиленно тереться спиной, как это делают свиньи.

У Луизы, которая была самой заморенной и самой хилой, личико было в непроходящей сыпи. Постоянно воспаленные глаза сильно слезились. Ирма питала необыкновенную привязанность к сестренке и ласково нянчила ее и голубила. Но маленький Жюль мешал ей: он вырывал малютку и уносил, бил Ирму, и чтобы огорчить ее сильнее, щипал и обливал водой и Луизу, которую, однакоже, любил и сам...

Все трое часто и подолгу оставались голодными. Маленький Жюль, не стесняясь, заходил в первые попавшиеся двери к соседям и, без слов, вперял сумрачный, враждебный взгляд на шкаф, где лежал хлеб. Он ходил по чужим конюшням, отыскивая куриный насест, забирал яйца и выпивал. Если удавалось поймать, его били. Он при этом стискивал зубы и молчал. А потом возвращался домой, заходил в хлев, брал полено и нещадно бил овец. И плакал при этом, и кричал диким, исступленным голосом...

Ирма была высокая и тоненькая. Если бы ее умыть, причесать и одеть в чистое, особенно если бы в белое, то стало бы видно, что у нее странная и необыкновенно привлекательная внешность.

Продолговатое, изящное лицо с удивительно тонкими чертами. На нежной, бледноматовой коже неожиданно резко выступают широкие, слегка выпуклые глаза, и цвет их – как цвет воды в швейцарских озерах: он синий с серебристым отсветом горных туманов. И смотрят из глаз этих скорбь и тихий испуг. И никогда не уходит из глаз этих тихий испуг, он виден во всех жестах девочки, в походке, и в каждом ее слове. И даже косички ее, наивные, прямые, тоже полны тихого испуга, и оттого они так печальны и мертвенно бледны...

Испуг мешал Ирме слушать, из-за него она не могла понимать, и в школе она была последней ученицей. Она никак не могла одолеть азбуку, потому что на каждую букву смотрела с неугасающим испугом, и с испугом слушала голос учительницы, которая называла эти буквы... На Ирму махнули рукой и почти совсем перестали с нею заниматься.

В одиннадцать часов все девочки убежали домой обедать, но Ирма оставалась и испуганно жалась на пугающем школьном дворе...

Ей хочется домой, – поиграть с Луизой, ей хочется есть. Но есть дома нечего, а играть с Луизой не даст Жюль. Он уж наверное притаился где-нибудь в горохе, или в листве на верхушке дерева, и как только завидит, что Ирма играет с Луизой – бросится на сестру и станет ее бить. И Луизу будет бить...

Однажды он такую вещь проделал: вступил в дружбу с Ирмой, обещал прочный мир и даже подарил ей красную солдатскую эполету, которую украл у капитанармуса Этерно. А когда Ирма доверилась ему, и испуг исчез из ее скорбных синих глаз, мальчик подвел сестер к кусту ежевики, сам посадил Луизу к Ирме на плечи и потом, внезапным ударом в живот, обоих опрокинул на колючие прутья куста...

Голодная Ирма, с испугом в глазах, бродит до часу по школьному двору, или по деревне, и все ждет, что вот-вот выскочит откуда-нибудь Жюль, и ждет других бед, – неведомых, таинственных, и оттого еще более опасных и мучительных... А в час занятия начинаются опять, опять являются пугающие буквы; и каждую в отдельности, по нескольку раз, громко, так громко, называет пугающий голос учительницы...

Семья пришла в большое обеднение, и ей грозила полная нищета. Но выручила неожиданность: раньше предполагавшегося пришло наследство от матери Эрнестины – старухи Фонтэн.

Это случилось в сезон вишен, в июле.

Вишен уродило необыкновенно много, и это было общей радостью. И молодые тоненькие деревца, наивные, еще не отрастившие ветвей, и похожие на воткнутый в землю прут, и старые гиганты, которые гигантами были уже тогда, когда самые ветхие жители деревни лазали по ним мальчишками, – все обсыпаны, облеплены были вишней. Это было какое-то страстное, бурное состязание садов, полное веселья и восторга, и в нем до крайнего напря-

жения доходила вся сила деревьев, вся мощь. Густым переплетом корней жадно пили они из земли крепкие соки, наливали ими свои стволы и ветви. И душистые листья наливали, и потом, с млением блаженства, как молодая мать молоко первенцу, отдавали живые силы плоду...

Все виды вишен уродили одинаково обильно. Были прекрасные, дерзостно-алые вишни, полные светлого жидкого сока, – прозрачные до того, что совершенно явственно, как через стекло, виднелась в них косточка. Были мясистые, черно-пунцовые, как сгущенная кровь. Были золотые, как спелый лимон, с нежно розовыми жилками на обращенных к солнцу боках... И такое было их великое множество, что местами деревья казались не зелеными, а красными...

На заре клевали вишню воробьи, с пьяным криком тучею перелетая из сада в сад. И люди не сердились на них, а дружелюбно и светло улыбались, ибо знали люди, что не все истребят птицы, что для всех хватит господней щедрости... Детишки вишню съедали в несметном количестве, и целый день можно было видеть их счастливые, смеющиеся рожицы, вымазанные красным вишневым соком, как кровью. И руки, и передники, и чулки, и тетрадки, и волосы на голове, и белая шерсть весело прыгавшего Трезора, – все забрызгано и запятнано было этим соком...

Везде и всюду разговоры были о вишне, хвалили ее полноту и сочность, запах ее и яркость, вспоминали, сколько лет назад был еще такой же богатый урожай, и старались найти объяснение этому необычайному изобию. Варили варенье, пекли пироги, приготавливали наливку и кое-где курили уже из вишен водку. В садах стояли высокие лестницы, иногда связанные из двух небольших. По ним взбирались женщины с кошелками, а ребята, возбужденные, радостные, с веселым визгом, проворно, как молодые обезьяны, цеплялись по отягченным ветвям в озаренной солнцем листве. Качались под ними ветви и гнулись, иногда дети скользили и срывались, но тут же ловко и быстро схватывались за другие ветви, и смех при этом делался еще более беззаботный и более веселый... Ослепительно яркие вишни звали к себе и манили, лукаво дразня всем очарованием своей свежести, всей нежной сладостью своего аромата... И не dokonчив общипывать ветку, люди бросали ее, взбирались выше, уходили дальше, к другим, еще более привлекательным, еще более щедро обсыпанным красной, сверкающей искрой...

Какое обилие! Какая ликующая роскошь! Какой безумный, безбрежный разлив!

Те, которые не могли взбираться на деревья, – старцы и маленькие, – и всем помогавший Трезор, – толкались на земле. Кто-нибудь тряс дерево, спелая вишня, с густым и дружным стуком, шурша по листьям, буйным дождем падала на помятую траву, и при каждой новой волне этого алого дождя стоявшие внизу люди стремительно с пестрым взрывом веселых восклицаний, толкая друг друга, бросались подбирать алые шарики... Запах вишен, сладкий и влажный, запах оторванных листьев, которые падали на головы, на плечи, на руки, возбуждал и веселил. От него, и от игривой суетки, и от яркого солнца, молодели и оживлялись старики. Давно одеревеневшие спины разгибались, давно начавшие трястись руки протягивались бойко, давно отуманившиеся глаза искрились и светло улыбались при виде смеющегося блеска вишен. И что-то мечтательное, что-то доброе и ласковое, зарождалось вдруг в груди: у стариков – тихие воспоминания, тихие отсветы счастья далекого, у молодых – смутные грезы о счастье грядущем.

И нежным волнением охвачена девушка испанского типа, со всех сторон, как зеленою волною моря, затопленная бурною листвою. Вся она в белом. Желтая туфелька легко опирается на гибкую ветку, и длинные тонкие пальцы ухватились за ветку над головой. Уже не собирает девушка вишен, а поет, – странно взволнованная, вдохновенно поет она старинную сказку про храброго рыцаря Don Galor. При Шарлемане, при великом Шарлемане, первым

из первых был этот рыцарь, и сердце прекрасной Азелии, благородной и гордой, заслужил подвигами, совершенными при обходе земли.

Это сказка, это не больше как сказка, – признаются чистые переливы девичьего голоса, – это всего только старая сказка, – но если нет в наши дни чистой любви, – говорят они затем, – если не слышно в наши дни про великое мужество духа, – поведай нам старая сказка, поведай про время минувшее, про подвиги и чудо былого. О, поведай нам, добрая сказка!..

На пышных, темных волосах девушки мягко играют алые вишни, вдоль стройной шеи скользят атласные листья. И звуки песни так прекрасны, и так пленительны, что, кажется, сами они убраны и пурпуром вишен, и ароматом листа, и золотом июньского солнца.

Привет ей, светлой. Благодарный привет милой девушке, стоящей там, наверху, и так звонко, красиво так и сильно поющей всем людям про мужество рыцаря.

Привет ото всех, от молодых и старых, от будущего и прошедшего, от скорби умершей, от радости и веселья родившихся...

И сверкают шутки, также густо сверкают, как вишни, и древние старцы соперничают с пятилетними внуками, ползая на коленях по траве или вырывая у малышей зацепленные старым зонтом и согнутые книзу ветки... Вспыхивают веселые ссоры, сыплются дружелюбные насмешки... Не удержав равновесия, скользит по траве и падает навзничь ветхий дед, а правнуки, измурзанные вишневым соком, со звенящим смехом, захлебываясь от восхищения, как ягнята, прыгают и кувыркаются вокруг, и чистый хрусталь их голосов кипит и струится, – и сквозь светлую листву, где вдохновенно поет она – милая девушка в белом, – взвизывает вверх, к сочувственно, ласково глядящему небу.

Привет ей, светлой!

От скорби умершей, от радости и мечтаний родившихся, от песен, цветов и от солнца,

Привет!..

У матери Эрнестины, старухи Фонтэн, было три огромных вишневых дерева за селом, на склоне холма, среди виноградника. Это была чудесная вишня, круглая и мясистая, напоминающая и формой и цветом бычье сердце, и оттого и называемая *sœur de bœuf*.

По всему холму лег виноградник, и лоза его поднялась настолько уже высоко, что надо было ее привязывать. Для этой цели около каждого куста воткнут был шест, и шестов этих было так много, что издали, казалось, идут в зелени большие отряды войска с тонкими пиками.

Старуха принесла с собой корзину и лестницу, но лестница была коротка, и на верхушку деревьев старуха пробиралась по веткам.

Что-то случилось: ветка ли скользнула и подогнулась, нога ли на сантиметр левее или правее направилась... Старуха свалилась на землю.

Она упала так несчастливо, что левый глаз ее пришелся как раз на одну из пик, к которым привязывали лозу.

Пика прошла через мозг, и смерть была почти мгновенная.

... Голубое, безгрешное небо, такое доброе, такое милое, и тихий склон холма с тихим ароматом лозы, и светлые дали, и ласка, и мир, и чистая, ясная нега.

И разбитое тело человека, из которого хлещет горячая кровь.

Вишни в корзине, упавшей под спину, раздавлены, алые струйки сока текут между прутьев плетенки, они смешиваются с кровью человека, и с ней вместе уходят в песчаную почву виноградника.

V

Дом и виноградник – вот наследство.

А наличные деньги все достались мясничке Мари.

Так как Эрнестина не знала, что мать свалится с дерева в этот день, то с утра напилась. Ребятишки прибежали в деревню с неожиданной вестью о несчастье, но пьяная Эрнестина долго не могла сообразить, чего от нее хотят. А когда сообразила, то бросилась на виноградник. Мясничка Мари тоже бросилась туда, еще раньше. Но по дороге она забежала в квартиру матери и, как следует обшарила погреб. В стене, позади высокой бочки, она нащупала давно знакомый выступ. Коротким железным стержнем, которым в мясной точат ножи и который она догадалась захватить с собой, она выступ расковыряла... Узелок!..

Не развязывая, и даже не оглядывая находки, взволнованная Мари сунула ее, вместе с железным стержнем, за пазуху и побежала к покойнице.

Она громко рыдала над мертвой матерью и крепко обнимала разбитое, окровавленное тело. Но железный стержень, торчавший за пазухой, стеснял, – он толкал в грудь и живот и мешал нагибаться... Мари голосила, причитала, целовала остывшее лицо покойницы, и при этом мысленно негодовала на себя и себя бранила, – за то, что не освободилась от железного стержня, не бросила его по дороге куда-нибудь в траву... Потом пришла бы и взяла... Никогда никто не заметил бы.

Еще и еще причитала она и плакала. А когда растерзанный труп подняли и понесли, лицо Мари исказилось вдруг выражением ужаса и дикой растерянности, страшен был вид растрескавшегося черепа с вывалившимся мозгом, и страшно было внезапно сверкнувшее опасение, что в узелке за пазухой – одни только серебрянные монеты. Золото же все и бумаги остались в погребке в другой стене, где – вспоминалось Мари – должен быть еще один выступ.

Дом и виноградник сестры поделили.

Разумеется, поработать Жюлю пришлось тут не мало, и об этом он всем рассказывал обстоятельно. Нотариус, ведь он бестия. Сейчас тебе с толстомясой Мари снюхается. И все так и норовит, чтобы Жюля опутать... Бумага! На какого дьявола бумага?! Виноградник, – ну и подавай виноградник! И дом если – подавай сюда дом! А бумага, вот этакая куча бумаг, – не надо этого... Все это так, чтобы голову затуманить. Первые воры – нотариусы... Ну, однако же и похитрее их люди найдутся. Если у человека смекалка есть, он и нотариуса не боится.

Когда Жюль вопрос о наследстве, как следует, обмозговал, хорошенько все взвесил и все в точности по несгибавшимся, толстым, как огурцы, пальцам подсчитал, то выяснил окончательно, что нотариус прохвост. Ну, а если прохвост, так для чего же это скрывать? Никакой надобности нету. И говорить надо всякому. Потому что самое дорогое – это правда! И какая же, позвольте спросить, тут будет правда, если свою половину виноградника Жюль получает не в собственность, а во временное пользование, на семь лет? И если вместо половины стоимости дома наличными и сразу, он будет получать какие-то ежемесячные взносы?

А потом владелицей всего станет эта жирная морда с гребешками, Мари?

Почему так? – любопытствовал Жюль. Потому что у нее пузо? Так что ж из того, что пузо?

Да если бы Жюль ничего не делал и сложа ручки за кассой сидел, то у него, может быть, пузо еще выше вспухло бы!

– Не в пузе дело, – вмешивался Жако. – Ведь вот, поля твои. Пропил ты свои поля?

– Это дело мое, если пропил.

– Заложил ты поля?

– Оттого, что мои, оттого и заложил. Не чужие закладывал.

– И пошли бы они все с молотка, – невозмутимо басит Жако. – А Мари за тебя нотариусу заплатила долг.

«Заплатила долг»... А наплевать, если заплатила!.. Разве Жюль боится?.. Он никого не боится... «Мари долг заплатила»... А нельзя бы узнать толком, сколько именно она заплатила? Во сколько была заложена земля? И сколькоросло процентов?.. Ага! То-то же!..

Нотариус думает, что только он один понимает? Жюль тоже кое-что смекает... А законы он все как свои пять пальцев знает. Законы – вот они! Как на ладони...

– В законе сказано: убила старуха – дели дочкам виноградник пополам! Чтобы без обиды... А если дом, – мне одна половина дома, толстомясой – другая. Вот оно, как в законе! А нотариус – вор.

– Это у них такое ремесло, – соглашался Жако: – с законами. А закон – для грабежа.

– «Поля выкупила»!.. Ты думаешь, если поля, так я испугался?.. Поля!.. У всех есть поля... У кого – под овес, у кого под пшеницу... Кому что надо... Поля!.. А я тебе скажу так: поля, хоть они там и поля, а кишки я ей выпущу.

– Кишки?

– Кишки.

– Врешь, не выпустишь.

– Выпущу... Поля полями, а в мясную к Мари войду, – «здравствуйте». – Нож со стойки возьму, – и пршт! – выпущу кишки.

– Что ж, могилу бабе вырою.

Дом, оставшийся от старухи Фонтэн, находился в аренде у старого Виара, и от кабака Жюль и должен был получать деньги. И ни одного сантима наличными он от него не получил, а все забирал напитками, – и это было удивительно удобно. Заходи, пей, угощай, – а платить не надо. Кого хочешь, угощай, – платить не надо! Весь кабак, все бочки и бутылки в твоём распоряжении. Старый Виар там что-то записывает, – ну и пусть записывает, Жюль не боится. Это Виар умеет – записывать. Специалист. Пусть себе он записывает. А тот, кто не дурак, вместо того, чтобы карандашом туда-сюда черкать, лучше возьмет да и выпьет.

– Неправда разве? – Жюль хитро подмигивает. – Тот возьмет да выпьет.

А если толстомордая Мари и обобрала, так пусть она за это трижды издохнет. Жюль не какая-нибудь жадная свинья, ему хватит. Вот, говорят люди, Мари это нарочно так устроила, чтобы от Виара он аренду получал. Она хочет, чтобы соблазн был, чтобы он скорее спился окончательно, чтобы пропил свою половину и чтобы дом ей, Мари, достался скорее. Ну этого не будет. Дом ей никогда не достанется. На суде Жюль докажет. Он, когда надо, все докажет, и свое получит. Но главное, жадным никто не смеет его назвать!

Пили теперь Жюль и Эрнестина значительно больше прежнего. Вино на Жюля не оказывало уже никакого влияния, в каком бы количестве он в себя его не влил. Абсент тоже слабо действовал, и удовлетворение Жюль испытывал только тогда, когда пил абсент в чистом виде, без воды. Но и от этого напитка Жюль с ног не падал и работал почти так же много, как и раньше. И пахал, и косил, и молотил, и в дорогу ездил. Он только осунулся заметно, сделался сутулым и каким-то серым, и не так свободно, как в былое время, таскал на чердак мешки с пшеницей.

Эрнестина абсент употребляла редко, но зато в большом количестве пила вино. Она высохла еще сильнее, лицо ее покрылось морщинами, глаза стали красными и широкими, и постоянно сочилась из них какая-то мутная влага. Хромота ее усилилась. Теперь, когда Эрнестина шагала, левая нога точно подламывалась, и одновременно правое колено быстро сгибалось и высоко поднималось кверху. Правая часть живота и бок при этом как-то особенно уродливо выпирались и вздрагивали. Тряслись у нее руки, иногда все тело, она с трудом справлялась с самыми незначительными работами. Почти все делал для нее Жюль: пек хлебы, стирал белье, клал под квочку яйца. Еще грязнее, еще гаже сделалось в доме,

и все предметы в нем были обломками, обрывками, лохмотьями. Настоящей клоакой была постель. Подушки были без наволок; одеяла, тьюфяки, все отрепья никогда не проветривались. Пьяные, в полубессознательном состоянии, и Эрнестина, и Жюль сваливались в кровать, извергали из себя выпитое и съеденное, все оставалось здесь, в складках тряпья, и засыхало. На старую грязь ложилась новая, на эту опять свежая, – и так неделями, месяцами...

У Эрнестины стала болеть печень, временами колики делались до такой степени невыносимыми, что приходилось посылать за докторшей, и та делала впрыскивания морфия. Несколько раз желчь разливалась у Эрнестины, и тогда эта изможденная, морщинистая, хромая женщина, со сбитыми, как овечья шерсть, волосами, с трясущимися костлявыми руками, с глазами, в которых порою уж сверкали приближавшиеся искры безумия, делалась отвратительной и страшной, как сама смерть. И чужие люди, и собственные дети пугались Эрнестины, и только маленький Жюль с напряженным и радостным любопытством рассматривал мать и весело хихикал... Эрнестина от этого свирепела, раздражалась руганью, гонялась за мальчиком, вынося вперед длинные, плоские руки, с которых вниз свисали грязные отрепья. Правый бок ее взлетал кверху, разорванная кофта распахивалась, обнажалось костлявое, желтое тело, – и как мокрые чулки, шлепались по сторонам длинные, дряблые, пустые груди с черными сосками.

Жюль убегал, взбирался на крышу конюшни, победоносно и радостно хлопал в ладони. Он сдирал с каменных плит старый мох и швырял им в голову матери. Потом он принимался разбирать крышу, или ломать трубу.

Каждый день мальчик делал пакости, – у себя дома и у соседей: вытаптывал огороды, перепиливал ствол ползучего винограда, выпускал на волю кроликов, всыпал телятам в ноздри горчицу... В школу учитель больше не пускал его, и даже угрожал, что будет хлопотать об отдаче мальчика в какую-то исправительную колонию.

Ирма все больше и больше худела, вытягивалась, и все резче становилось на лице ее выражение вечного испуга. И вместе с испугом росла в ней привязанность к Луизе. Она няньчила сестренку, носила ее на себе, на своих узеньких плечиках, пела ей тихие песенки, – и голос ее был бледный, печальный и испуганный. У Луизы были дугообразные, неодинаковые ножки, огромная продолговатая голова и черные зубы. Сыпь, которая появилась на ее лице, вероятно, еще в материнской утробе и потом никогда не сходила, теперь превратилась в большую язву, охватившую весь подбородок и углы рта. Она поднималась уже и выше, и поразила левый глаз. Из него тек желтый гной, и на густые, как мед, капли его садились лакомиться крупные зеленые мухи. Они слетались с Маркизы и с Гарсонэ, с перепревших куч навоза, и темными кружками устраивались на гниющем лице девочки. Кожа у Луизы омертвела, сделалась нечувствительной, и ребенок даже не отгонял мух. Когда приходила Ирма, Луиза ей улыбалась, становилась веселой, прыгала на своих неодинаковых ножках, резвилась и просила у нее есть. В отсутствие сестры она голодала молча. Ирма выкапывала на огороде редьку, морковь, собирала с кустов смородину, и тогда начинался пир.

Потом дети играли в прятки, уходили в поля собирать букет из алого мака или на лесную опушку за желтыми цветами авриколя. И смешную песню удода слушали они тут, и стрекотание кузнечиков. И гонялись за бабочками. Ирма, по пояс в траве, а Луиза по самую голову, бегали, барахтались, кувыркались. Они ложились на животы и плавали в траве. Ирма при этом подражала тетке Мари, которую видела однажды плавающей в Марне, а Луиза, которая плавающего человека еще не видела, подражала Ирме.

Трава пахучая, мягкая, сверху теплая, – и это так приятно. Трава пахучая, мягкая, и снизу, у корня, влажная и прохладная, – и это так приятно. Так приятно прятать в траву лицо, так весело разводить по ней руками, так шумно бурлят фонтаны брызг сзади, у ног...

– Луиза, вот они какие брызги, – кричит Ирма.

И даже испуг умер теперь, и только радость свободная слышится в голосе девочки.

– Ты видишь, какие великолепные брызги!

– Да, да, я вижу! Ух, какие!..

– Брызгай тоже, Луиза, брызгай крепко.

– Я крепко!

– Так, как, хорошо... Ах, как хорошо!

– Ах, как хорошо!

Озаренные солнцем, озаренные радостью, облитые нежными отсветами неба и яркой травой, девочки плавают, кружатся, бегают... Нет никого! Взрослые – в деревне, или в поле, дети, если-бы и прибежали сюда, сейчас и отстранились бы от Ирмы и Луизы. Нет никого!

Как хорошо, когда нет никого!

Только ветерок плывет по верхушкам трав и, улыбаясь, шепчет им что-то кроткое, милое; только сладкие запахи леса носятся вокруг; только добрый удод поет свою смешную и добрую песню. Нет никого!

Дети играют в «тени». Ирма становится спиной к солнцу. Ее тень, прозрачная, голубая, тихо застывает на траве. Переваливаясь, как уточка, маленькая Луиза незаметно подкрадывается, – хоть и делает вид, что идет совсем в другую сторону, – и внезапным, наивно-лукавым движением наваливается на тень и ловит ее рученками. Но Ирма делает быстрый скачок в сторону, вместе с ней скачет и тень ее, а Луиза, потеряв равновесие, кубарем катится в траве и задирает кверху свои неодинаковые, кривые ножки... Поднимается смех, – такой звонкий, такой светлый, точно не только здесь, на опушке леса, за деревней, но и во всем огромном мире, нет никого; точно все в этом мире – голубое небо, и лесной аромат, и ласковый шопот влюбленных цветов...

Умолкнет добрый удод на высокой ветке липы и с любопытством станет смотреть на детей. И старая липа, светло улыбаясь, на них смотрит. И весь бор на них смотрит, и цветы все, и травы, и пестрые бабочки, и вытянувшаяся над крышами и домами серебристая колокольня смотрит с тихой и кроткой улыбкой...

И застынет вдруг Ирма, раскрыв шире глаза свои, и удивленная, станет слушать...

Поют?

Кто поет там, в лесу, на холмах?..

За частым строем сомкнувшихся сосен, чьи голоса звучат так нежно и сладко?..

Ирма видит: это поют маленькие, белые облачка. Так вот отчего спешат они так в теплой своей синеве!.. Вот почему все они стремятся все туда, – к бору, к густому и старому бору!

Веселой толпой собрались они там, доброй толпой маленьких добрых девочек, – таких добрых, каких в деревне нет...

Там играют они и поют, и быстро машут белыми крылышками. Там едят они куриный суп из стеклянных ложек, и получают новые сапожки из золотистой кожи. Там всем дают куриный суп, там для всех приготовлены новые сапожки...

Вот... поют! Вот машут белые крылья... Вот звенят стеклянные ложечки.

– Ты слышишь, Луиза! – сзывают детей, всех детей сзывают, и всем дают новенькие сапожки из золотистой кожи!..

А уже в траве что-то странное шевелится, и что-то в траве невидимое шуршит.

То не змея. То подкрадывается маленький Жюль.

Тихо и медленно подкрадывается он к сестрам, и когда до места доползет – с диким визгом вынырнет и бросится на Ирму. Побьет ее, оттаскает за волосы, а Луизу взвалит к себе на плечи и унесет...

Несколько раз Ирма пробовала защищаться и вступать с братом в бой. Она была значительно слабее его, но дралась с мужеством отчаяния и, случалось, выходила победительницей. Плача от бессильной ярости, мальчик отступал, а Ирма уносила отбитую сестренку

с собой... Но скоро Жюль нашел верное средство побеждать: с кулаками он накидывался уже не на Ирму, а на Луизу...

Он вцеплялся ногтями в изъязвленное лицо девочки, отдирая корки, наросшие на язвах, – и тогда на щеках Луизы выступала и разливалась перемешанная с гноем кровь. Луиза начинала мучительно кричать, а Ирма вся разрывалась от безумного плача...

Победитель Жюль уходил и довольный, улыбающийся, слонялся по деревне. Везде его гнали, и если не ленились, били...

Когда жива была старуха Фонтэн, она часто кормила внука. Она была скупа, жадна, и хоть накопила немало денег, питалась всегда сухарями и постной похлебкой из картошки и гороха. Внучек, заходивших к ней, она обыкновенно спроваживала домой.

– Подите, подите, мамка сегодня хороший суп сварила, не такой, как у меня, – с салом, с мясом, – подите скорей!

Но случалось и так, что она давала детям немножко похлебки или пару картошек. Жюль был ее любимцем, и ему она почти никогда не отказывала в еде. Теперь мальчику негде было есть, и в течение лета он заметно отощал. Ему шел уже десятый год, но на вид больше семи ему не дал бы никто...

Голова его еще больше прежнего ушла в плечи, а глаза никогда не смотрели прямо: они буравили сбоку и исподлобья. Две резкие морщины поднимались от переносицы поперек лба, а другие две шли от ноздрей вниз, мимо углов рта, к краю челюсти. Руки он всегда держал в карманах куртки, туго обтягивая ее на круглой, как корыто, спине. Когда на нем куртки не было, он руки все-таки держал в привычном положении, прижатыми к бокам, согнутыми в локтях, и кулаки его были стиснуты.

Оттого ли, что его никогда не купали; оттого ли, что он заразился у Луизы, – на голове его образовалась сыпь, скоро слившаяся в сплошную, серо-желтую, сильно лоснившуюся корку. Только снизу, сзади, над шеей, да висках, подле ушей, торчали волосики. Все же остальное было сковано корой, и было похоже, что обтянули голову бычьим пузырем и потом обильно смазали жиром.

К недоеданию, к чувству голода он сумел привыкнуть, и оно, сравнительно, не очень его тяготило. Но мучительно было отсутствие напитков... То количество вина, которое он получал дома, его совершенно не удовлетворяло, и он поэтому сильно томился, постоянно испытывал какое-то особенно напряженное беспокойство, и когда только представлялась возможность – воровал вино. Он залезал в чужие погреба, уносил столько бутылок, сколько мог захватить, прятался потом в сене, или на огороде, и пил – молча, серьезно, деловито...

Мясничка Мари, чтобы дать некоторое удовлетворение общественному мнению, стала подкармливать племянников. В деревне много говорили, что Мари ограбила сестру. Строились догадки насчет наличных денег покойницы Фонтэн, которые «сумела нащупать» мясничка, а Жако прямо говорил, что она ловко роет землю в погребах и скоро возьмется за его ремесло и станет рыть могилы...

Жюль, Ирма и Луиза стали ходить к тетке Мари обедать. Но с Жюлем вышла история: он забрался у тетки в погреб, просверлил в боченке с вином дырку и стал сосать...

Нашли мальчика на другой день мертвецки пьяным.

Он лежал в погребе, на ступеньках, а у ног его была огромная лужа вина, так как все вино из трех имевшихся в погребе бочек он выпустил.

С этого времени тетка Мари маленького Жюля больше к себе не пускала. Общественное мнение теперь ее одобряло, и только один Жако незыблемо стоял на своем и утверждал, что Мари – стерва, такая большая стерва, что он могилу для нее не станет рыть даже за тройную плату.

Угрюмый, подавленный и напряженный, как беглый каторжник, почуявший погоню, слонялся маленький Жюль по деревне, опасливо озираясь, и старался добыть вина – украсть

или выпросить. Ему иногда давали пить, – для потехи или из жалости, из убеждения, что теперь уже мальчику не пить нельзя, и что без выпивки он скоро умрет. Но чаще прогоняли его прочь и швыряли в него камнем, поленом... Он толкся около кабака Виара, и когда раскрывалась дверь, торопливо нюхал табачный запах...

Когда курили где-нибудь в деревне водку, он уже не отходил от куба ни на минуту и присутствовал при всех манипуляциях... Зеленоватую влагу разливают в бутылки, пробуют; закупоривают, расставляют бутылки в ряды, – Жюль смотрит искоса, исподлобья, жадно – тоскливыми глазами. Время от времени он вздыхает, ноздри его трепетно вздуваются, а трясущиеся губы перекошены...

Тестообразную, коричневую, как кофейная гуща, массу, остающуюся от винограда после выгонки спирта, выбрасывают на навоз. Она тепловатая, от нее идет пар, и в паре этом чувствуется еще запах алкоголя. Жюль впивается глазами в коричневую кучу, сладострастно замирая вдыхает в себя ее теплый запах, и на бледном сморщенном лице его гримаса сладкого терзания...

Раз как то он не выдержал, припал к теплой гуще и стал ее глотать. Она была противная, терпкая, от нее тошнило и сжимало глотку, но мальчик, зажмурив глаза, весь скорчившись, весь в судоргах, взвизгивая и всхлипывая, глотал, все глотал...

VI

... Чтобы у докторши заработать пять франков, ее нужно вести в самый Шамбронкур. Тринадцать километров туда, тринадцать назад – двадцать шесть. Да пока она больных осмотрит, да пока ребятишкам оспу привьет, – сколько времени! А у Виара можешь выпить и на пять франков, и на шесть, и на сколько угодно, а возить никого никуда не надо. И если в дом вино нужно, тоже Виар доставит. Вот захотелось Жюлю полубордо иметь – заказал, и готово! И есть полубордо. А платить не нужно. Уж об этом старуха Фонтэн позаботилась, давно вперед заплатила за полубордо.

Жюль сидит и тянет полубордо. А с ним тянут Эрнестина и Жако.

У Эрнестины лицо раздутое, глаза мутные и красные, волосы растрепаны, пестрят в них соломинки и перья. На ссохшемся, жалком теле ее рваная кофта висит, как в безветренную погоду флаг на шесте. Жюль в загаженных, плисовых штанах, в заплатанной рубашке, босой. Широкая в скулах физиономия его кажется еще шире от добродушной, самодовольной улыбки. У Эрнестины лицо гневное, почти свирепое.

Я уж и к жандармам ходила! – кричит она. – Из за нее, из за мерзавки, у меня девочка заболела... Знать не хочу, а чтобы процесс! Полвиноградника, полдома пусть мне подадут!.. И деньги!

– Деньги Мари украла, – гудит бас могильщика.

– Украла? – Жюль прищуривает один глаз и пренебрежительно, с приятным сознанием своего превосходства, испытующе смотрит на Жако. – А красть, это как, по закону?

– Закон для грабежа.

Жюль тянет полубордо.

– А я им докажу, – говорит он, держа стакан перед мокрыми усами. – Я на суде все докажу... Меня не обманешь. Процесс – и больше ничего!

Затей процесс, и пока там что будет, а Виар, пожалуй, перестанет отпускать вино и водку. Как же затевать процесс?.. Но если о процессе разговаривать, водку и вино выдавать будут беспрепятственно. Отчего же о процессе не разговаривать?

– Ограбила, подлая, а теперь, милостыню мне подает, – ударила кулаком по столу Эрнестина. – Детей моих кормит, туша... А я знаааю чем она кормит!.. Вон у Ирмы горло болит, – отчего оно болит?..

– Я им докажу... – твердит Жюль. – И горло, и все... Я все докажу... без ошибки... Я не боюсь...

– Бояться не надо, – соглашается Жако. – Это лишнее. Бойся, не бойся, а раньше времени не помрешь... Вот старый Мишель боялся. Всего боялся: смерти боялся, меня боялся... А как пригрозил я ему тогда пальцем, то уж и совсем сдурел от страху.

– Мама, – тихо стонет слабым, испуганным голосом Ирма. – Мама... больно...

Девочка лежит на кровати. Лицо ее серое, с сизыми налетами; глаза странно сверкают. К выражению испуга, которое всегда сидит в них, теперь присоединяется еще отпечаток немой тоски, отпечаток какого то особенного, мучительного недоумения... Что то необычайное, дикое и грозное, происходит перед этими расширенными и потемневшими глазами, что то таинственное и опасное, – и никто другой этого не может знать...

Девочка беспомощна, одна... одна перед смутным сонмом враждебных видений.

– Мама...

– Видите, Жако!.. Все сестра моя постаралась!.. Что поделаю?.. Возьми, Ирма, прополщи... Хорошенько прополщи и выплюнь... Сейчас поможет.

Она наливает Ирме вина и подает. Девочка с испугом смотрит вокруг... Кто это?.. Это Жако здесь сидит?.. Отчего же подземелье?.. Узкие коридоры везде, и веет сыростью... Ах,

как холодно! Какой ветер!.. Темная фигура машет когтистыми крыльями, и шурша клубятся мглистые тени.

Отчего так холодно? так сыро? Так громко завывает ветер?..

Худенькой, бессильной рукой Ирма тащит на себя лохмотья, и на их грязной черноте длинные, бледные пальцы ея вырезаются отчетливо, как мрамор.

Маленький Жюль, сидящий на пороге, злобными глазами, исподлобья, буравит и сестру, и ожидающий ее стакан полубордо. И весь замирает от жадной зависти, от большой страсти...

... – Старый Мишель был дурак, – говорит Жако: – испугался могильщика и уж никогда один на улицу не выходил. Всюду кухарку с собою брал. И на ночь, от страха, брал кухарку к себе в постель – от смерти спасался. А от смерти не спасешься, уж она свое возьмет всегда.

Ирма мечется. «От смерти не спасешься, она свое возьмет всегда...»

Темная фигура с когтистыми крыльями вдруг надвинулась на Ирму и осветилась тусклым, сероватым туманом. Череп, открыт рот, в нем черно и пусто... Длинные, серые руки идут от плеч; в них нет костей, они мечутся и извиваются, как обеспокоенные змеи. Вместо пальцев, змеиные головы с открытой пастью, и из пасти вываливается игловидный, светящийся, зеленый язык... Стучат кости и, не переставая, веют темные крылья. Холод идет от них, тяжкий холод, и он снежным покровом облепляет все тело Ирмы и лицо ее.

Смерть.

Это смерть.

«От смерти не спасешься, она свое возьмет всегда...»

– Уж это известно, – подтверждает Жюль. – Смерть своего не уступит.

Ирма трепещет. Темный рот черепа раскрывается шире. Стук костей делается отчетливее. Руки – змеи разматываются вперед. Выше поднимается размах когтистых крыльев, и когти вспыхивают зеленым блеском Ивановых червяков.

Отчего так холодно?.. Холодно...

Отчего так тесно?.. Тесно...

Отчего так затихли все?..

Отчего страшно пахнет плесенью?..

Смерть. Это смерть... «От смерти не спасешься, уж она свое возьмет всегда. Смерть своего не уступит...»

– И придет, когда вздумает, – весело подтверждает Эрнестина. – Влезешь на дерево вишни рвать, – она и на дерево за тобой ползет... И уж она штука крепкая, она уж навеки...

Ирма мечется. Что это так стискивает горло?.. Ах, как лоснятся змеи!.. Как они холодны и влажны!.. И темные крылья уже не машут? Они уж не машут. Они застыли и стоят мертвой черной стеной. И Ивановы червячки все погасли. Все погасло и стало черно.

И не видно маленького Жюля. Где маленький Жюль?.. О, уже не будет он больше бить Луизу. Все венки останутся у Луизы. И красный мак, и желтый авриколь, и все белые лилии.

Смерть.

Смерть – и Жюль уже не страшен. Все белые лилии останутся у Луизы, все белые лилии... Но где Луиза?.. Ах, нет Луизы... Ее нет! Ее нет!.. Не будет Луизы?.. Нельзя будет видеть Луизу никогда, нельзя будет видеть Луизу. Это уж навеки. Смерть штука крепкая, она уж навеки... О, Боже, Боже...

– Глянь-ка, Эрнестина, что-то твоя девчонка брыкается заметил Жако: – дурно ей, что ли...

Эрнестина оглянулась на кровать, быстро вскочила и бросилась к Ирме. Жюль тоже поднялся и пошел к девочке.

– Вот штука... Ну вот!.. видишь ты, – озадаченно бормочет он, шевеля короткими и толстыми, как поздние огурцы, пальцами. – Теперь, значит, сахарной воды надо... Дай ка ей сахарной воды... Сахарная вода – без ошибки...

– А я вижу, что она брыкается, – гудит Жако, поднимаясь. – Ты спиной к ней, а я лицом, и мне видать... Прямо сказать: брыкается девчонка, Умирает, что ли?

Маленький Жюль стоит, прижав локти к ребрам, в глубоком недоумении, и с дрожью какого то совершенно нового, необычного, таинственного наслаждения, раскрыв глаза, смотрит на мертвенно бледное лицо сестры...

– Умирает... ишь ты... умирает...

Смутная и нежная истома овладевает им... Ему как будто и стыдно чего то, – и стыд этот ему удивительно приятен... Что то загадочно и сладко щекочет, и ему хочется, чтобы щекотание сделалось сильнее, и ему хочется, чтобы щекотание скорее окончилось... Он соловееет, он дышит часто и громко... Кружится затуманенная голова... Он хмурится, он ежится, он трепещет... Блаженная улыбка разливается по его лицу...

– Умирает... она умирает...

С хихиканием, захлебываясь и вздрагивая, потягивается он. Он чувствует сладкое, мучительно-сладкое раздражение. Оно душит его, и оно обдает его блаженством. И хочется, чтобы оно разрослось еще, и хочется, чтобы оно мгновенно угасло...

С рычанием, похожим на смех, со смехом, похожим на всхлипывание, мальчик бьет ногой о пол и в сладострастном изнеможении хрипит...

И облегчения нет. И разрешения нет. И сладкая мука терзает, и жестокая сладость когтит.

VII

– Женщины. Они ничего не понимают, думал Жюль. – Разговор разный, и все. За докторшей хотят посылать...

И Мари прилезла. Она всегда прилезет... Вымытая, в корсете. Смотреть противно. Да и воняет от нее, чорт бы ее взял.

Шум такой подняли, что не вытерпеть...

И чего сидеть дома?.. Присылала докторша, в Трампо везти – и превосходно!

Уехать – а они тогда пусть тут шумят. Сколько угодно, пусть тогда шумят.

Жюль уехал.

Вернулся ж очень поздно, в девятом часу.

Когда фаэтон въезжал в деревню, у мясной поджидала Мари, а несколько ниже, у почты, – еще две бабы.

Очень встревоженные, все женщины стали просить докторшу подъехать к Ирме сейчас же. Девочка задыхается.

Жюль искоса и исподлобья, – совсем как маленький Жюль, – посмотрел на Мари.

Жирная свинья эта врет. Она, верблюд, всегда врет. Сплетни и любовники, больше ничего ей не надо. Ей, верблюду, кишки выпустить надо.

Мари шла около медленно катившегося фаэтона и обеими руками держалась за крылья подножки.

– Девочке совсем плохо, – говорила она: – видно, это дифтерит, задыхается.

Жюль поднялся на козлах и изо всей мочи несколько раз хлестнул Маркизу кнутом, по спине, по голове. Лошадь рванулась, как бешеная, фаэтон понесся, и задние колеса его чуть не отдавили ступней не успевшей отстраниться Мари.

– Ага, получила!.. – торжествуя, проворчал Жюль, опять опускаясь на козлы. – Теперь отстала, жирная морда... Тебе, верблюд, не так еще надо...

– Не заворачивайте, Жюль, поезжайте прямо, к вам, – сказала докторша. – Я посмотрю, что с Ирмой.

– Зачем смотреть? Там смотреть нечего... Не театр... Гю. Маркиза, направо.

– Поезжайте прямо, Жюль, к себе поезжайте... Они говорят, Ирма в опасности.

– В опасности?

Сплетня и выдумки. Какая опасность! Опасности не бывает. Горло?.. Ну так что, если горло?.. Дать поласкание, если горло...

Это все Мари! Досадно ей, что повез человек докторшу, что пять франков заработал, вот и подстраивает, чтобы на докторшу же эти деньги и истратить. У, верблюд!

Завязался спор. Докторша хотела видеть Ирму, Жюль не соглашался.

Мари – верблюд. Если Мари нужно, чтобы Ирму лечили, пусть Мари и платит. А Жюлю до разных выдумок дела нет. Не любит он выдумок. Не верблюд.

– Вы ничего не заплатите, не надо платить... Да остановите же лошадь... Вы ни одного су мне не заплатите.

Жюль мотает головой. Ни одного су?! Известно всем, как доктора лечат, когда без денег. Нет, не надо... Мари будет разное там выдумывать, а ее слушаться? Да черт с ней, и с ее любовниками, вот!

Докторша выпрыгнула из коляски и пешком направилась к дому Жюля. А Жюль фыркнул в усы и заворотил Маркизу направо, к квартире докторши.

– Дураки всегда дураками будут, – рассуждал он, – а меня не проведешь, нечего тут.

Он подъехал к сараю, выпряг Маркизу, и та сейчас же повернула и пошла домой. Жюль поднял оглобли фаэтона кверху, втолкнул его в сарай, запер на засов двери и поспешно последовал за Маркизой.

Хотелось выпить.

Пока докторша в Трампо сидела у больных, Жюлю подносили, – да все только вино, и уже пора была хлебнуть абсента.

Жюль, торопясь, стал устраивать у корыта Маркизу. Привязал лошадь, насыпал овса. Гарсонэ, соскучившийся по отсутствовавшей товарке, стал приветливо храпеть и махать загаженным хвостом.

– Машет!.. Чего машешь?.. Ты не махай... Размахался... Махало нашелся. Нечего махать...

Жюль прислушался. В доме была возня. Вижжала Эрнестина. Громко разговаривала Мари.

Жюль повесил шлеи на колышек и пошел в дом. Отворил дверь и стал на пороге, – как и тогда, много лет назад, в день рождения своего первенца...

Женщины суетятся: одна кипятит в очаге воду. Докторша у окна, прищурившись, смотрит через пенснэ на стеклянную трубку... «Ну уж конечно, без трубки она не может...» Эрнестина у кровати, и Мари спиной сюда, над кроватью нагнулась. «Вот зад! У-гу-гу! Прямо тебе два гектара, и кончено!»

– Зачем шумят? Туда, сюда... Бегают, и все... Верблюды проклятые!

Жюль притворил дверь – и вышел на улицу. Докторша уйдет, тогда он и посмотрит, что там такое с Ирмой. А сейчас, если оставаться здесь, то надо будет докторше платить... Заплатить? Пусть Мари платит, если ей надо, а у него лишних денег нет. И любовников тоже нет. Он не желает.

... Соответствующую компанию всегда найдешь. Нужно только самому быть хорошим человеком, и знать, куда пойти.

В кабаке у Виара сидели старый Зозо, могильщик и муж почтарки, дедушка Мерлэн. Этого полуразвалившегося старичка девица Анаиза сумела до такой степени разжечь своими окончательно угасшими прелестями, что он, потеряв всякую застенчивость, к великому удовольствию своему и всей деревни, целые дни и почти целые ночи проводил в кабаке...

Жюль подсел к компании и немедленно, без обиняков, объявил, что как угодно, а его не обманешь.

Даром? Не желает он даром!

Какой дурак отдаст даром то, за что можно получить деньги? Он не нищий! Это всем известно. А если кому неизвестно, так он даст в морду. С какой стати даром? Мари – верблюд, – пусть она и платит.

Он будет ездить в дорогу, гонять Маркизу, а потом платить докторше? А вот этого она не хочет?.. Ага! Почему Ирма заболела? Дифтерит? А откуда у нее дифтерит?.. Никогда у нее дифтерита не было. А накормила Мари детей, и сейчас дифтерит. Теперь пусть завет докторов, – из Нанси, из Парижа, из Персии, пусть платит! Пусть за все платит. И больше ничего! У него в сапоге ума больше, чем у Мари в трех головах. И он ничего не боится. За все пусть Мари платит. И в аптеку, и докторам, и попам. Вот, помрет Ирма, – он знает ничего не хочет! Плати, верблюд, за похороны.

– Ну, это врешь! – запротестовал Жако. – Ты – отец и за могилу я всегда с тебя потребую.

– С меня? Не получишь!

– Получу!

– Не получишь!

Если Ирме могилу, так получать с тебя, – кричал Жако.

– Обязан, – вмешался дедушка Мерлэн, – за своих детей всегда отец обязан.

Жюль хлопнул кулаком о стол.

– А если девчонку Мари отравила?

– Ирме могила, – ты заплатишь, – настаивал Жако. – И маленькому Жюлю если могила, тоже ты заплатишь.

– Не заплачу.

– Нет, заплатишь.

– Вот увидишь!

– Нет, ты увидишь!

Девушка Анаиза подошла менять на столе стаканы, и дедушка Мерлэн, весь сияя весенним счастьем, протянул к ней дрожащие руки.

VIII

В этот день Эрнестина пила, была пьяна, и в голове ее стоял тяжелый туман. Когда к ночи Мари и соседки ушли, она села на кровать, где металась Ирма, и тупым, бессмысленным взором уставилась на умирающую. Девочка хрипела, корчилась в резких судорогах и в горле ее и в груди что-то странно хлюпало и перекатывалось.

– Умирает, думала Эрнестина. Она покачивалась взад и вперед и в руках крепко сжимала горлышко бутылки – Умирает... Это Мари отравила... и докторша отравила...

Она пила из бутылки и злобно вытирала рукавом рот.

– Отравили, – проносилось в ее пьяной голове. – Они отравили... А я вылечу... на зло всем вылечу.

Эрнестина взяла с полки длинный кусок черного лакричного корня и стала его совать в рот Ирме. Зубы девочки были тесно сжаты. Это разозлило пьяную.

– Не хочешь? Ты, значит, с ними?.. Соси лакрицу!.. Соси, когда мать велит...

Скрюченными, мокрыми пальцами она раздвинула девочке зубы и воткнула ей в рот лакрицу. Ирма забилась, затрепетала... Она подняла кверху, к лицу, руку – должно быть хотела отбросить лакрицу, – но ослабевшая рука не повиновалась и тяжело упала на темные лохмотья.

И уже больше девочка не шевелилась; она лежала беззвучно, тихо вздрагивая, а черный лакричный корень, как сигара, торчал у ней меж зубами...

– Сама вылечу, сама! А докторшу – вон отсюда, и Мари вон!

Эрнестина скрежетала губами, костлявыми пальцами стискивала бутылку и снова лила в себя водку...

IX

Маленький Жюль спал в конюшне. От холода он проснулся и, проснувшись, стал прислушиваться. В доме было тихо. Тетка Мари, значит ушла, – соображал мальчик, – ушли и соседки, теперь можно пойти в дом, никто не будет давать пинков, и не будут орать, что болезнь Ирмы заразительна и надо отослать детей.

Жюль вошел.

Огня в очаге нет. Толстое бревно давно погасло, и на обуглившемся заостренном конце серая пелена пепла... Громко храпит мать. Она лежит на полу, широко раскинув руки, – точно старается захватить как можно больше пространства... Лицом она прильнула к каменным плитам, и кажется, она что-то шепчет им, или их целует... Хромая нога уродливо выворочена, и подле нее, на полу, бутылка...

Жюль стремительно набрасывается на бутылку – пуста!

– Все выпила. Верблюд!..

Жюль с силой тычет ногой в живот матери. Та не слышит. С безмерной ненавистью смотрит мальчик на мать и на пустую бутылку... По темной зелени стекла, мигая, тянется красное отражение светильни...

Холодно... Сумрачно...

Какие то странные звуки издает Ирма: будто торопясь пьет она и захлебывается... А мертвые ведь не пьют, – думает Жюль. – Мертвые всегда молчат. Значит, еще не умерла Ирма...

Маленький Жюль подходит к очагу и поддувалом хочет оживить огонь. Но поддувало прорвано и не действует. Жюль становится перед толстым бревном на колени, припадает к его черному концу лицом и, напрягая грудь и щеки дует...

Разлетается по сторонам старый пепел, вспыхивают кое-где искорки, перебегают, разливаются яркой полоской... Жюль продолжает дуть... Красные отсветы ложатся на кончик носа, на раздутые щеки, на собранные в трубку губы... Но уже легкие мальчика устали, что то колет в груди, дуть трудно, а огонь не разгорается.

Со злобным взвизгиванием Жюль ударяет по углям ногой и потом протягивает к ним окоченелые синие пальцы.

Холодно. Сумрачно. Скучно.

Гулко храпит мать, и не переставая, торопливо пьет и захлебывается Ирма.

Глаза у нее синие, а щеки красные...

– Ей тепло, – думает Жюль: – она в постели... И укрыли ее хорошо...

– Вон отсюда! – злобно кричит он, подбегая к кровати.

Ирма торопливо пьет и захлебывается и Жюлю ничего не говорит.

– Лакрицу сосет!.. Все ей: кровать, покрывало, лакрицу... Раньше полубордо сколько дали... Вон!..

Жюль тащит сестру за руку. Та ничего не говорит, и кажется, что она пьет захлебываясь.

– Вон, верблюд!

Жюль отгребает в сторону тряпье и схватывает обнажившуюся ногу Ирмы. И держа сестру за эту ногу и за обе руки, он стаскивает ее на пол.

Худенькое, нетяжелое тело девочки падает легко, почти без шума. Только голова с бледными, включенными волосами глухо стукнулась о пол.

Жюль, оскалив зубы, радостно смотрит на сестру.

«Умирает?.. А, умирает?..».

Он весь вздрагивает от странного удовольствия. Снова берет он девочку за ноги, за голые ноги, повыше колен и волочит к двери. Руки девочки протянуты вдоль тела, голова склонена на бок. И подскакивает голова и глухо стучит об пол.

– Умираешь?.. Ага, умираешь?.. Хи-хи...

Жюль приволок девочку к порогу и здесь бросает ее рядом с матерью, которая гулко храпит. Он бежит затем к постели, ложится в нее и тащит на себя всю грудку лохмотьев... Только лицо видно из под черного тряпья. Лицо довольное, радостное. Глаза улыбаются...

В постели тепло. Это Ирма нагрела, – думает Жюль. – Жар у девчонки, говорила тетка Мари, оттого и нагрела. И вытянуться можно, везде тепло... Только отчего она все будто пьет и захлебывается?.. – продолжает размышлять Жюль. – Хрипит... Это она умирает... Ага, теперь ей будет холодно!.. На каменном полу ей очень холодно. Еще и рубашка задралась, ноги голые, – хи-хи! Живот голый, хи-хи!..

И оттого, что Ирма умирает, и оттого, что живот у нее голый, опять возобновляется то, прежнее щекотание. И Жюль начинает сыпать грязными, чудовищно-непристойными словами...

В сердце щекочет, и под языком, и во всем теле... Опять приливает загадочная истома, и сладкое возбуждение зажигается опять...

Умирает Ирма, умирает...

Голый живот, голый...

И сладкое возбуждение разливается сильней, и уже мленют и трепещут плечи, и сами собой закрываются веки...

– Ирма, замолчи! – кричит Жюль. – Не хрипи, Ирма...

... – Тут еще лучше, чем если в очаге огонь раздуть, – говорит потом Жюль. – Тут все тело сразу чувствует тепло... Ирма, замолчи!.. Не хочешь замолчать?!

Жюль вскакивает из кровати... Он стоит перед лежащей на полу полуголой сестрой и смотрит... Лицо девочки направлено к потолку. Рот открыт. Видны зубы. Синие глаза неподвижны. Волоса рассыпаны по лбу, по камням пола.

И живот! Голый живот. И она умирает.

На белом фоне голого живота сумрачно выступает темный блеск стоящей на полу бутылки.

– Хрипеть будешь?.. Умирать будешь?.. Не хочешь умереть?.. Ага!..

Жюль схватывает бутылку за горлышко, подымает высоко над головой и с силой бьет по лицу Ирмы.

Сладостный трепет искрой проходит по телу его, – оттого, что живот у Ирмы голый, оттого, что красным потоком вдруг обдалось ее лицо...

И выше прежнего он опять поднимает бутылку, и опять бьет девочку по лицу...

Раз... и еще раз... и третий раз...

Красный поток сделался шире, он залил неподвижные глаза, и светлые волосы, и грудь, с лежащей на ней белой рукой. Красные струи побежали вниз, и по швам между плит стали пробираться к гулко храпевшей Эрнестине.

– Хи-хи-хи...

Жюль снова поднимает над собой бутылку, всю окровавленную, и опять бьет по черепу сестру.

– Хи-хи-хи...

В руках остается только горлышко.

Куски стекла рассыпались по лицу Ирмы, по плечам, упали на пол. Доньшко бутылки скатилось с груди, несколько раз качнулось с боку на бок, и остановилось острыми осколками кверху. Точно окровавленные зубы волка, сейчас только терзавшего овцу...

И кровь бежит, огибает круглое доньшко, и бежит дальше...

Белый живот Ирмы вздрагивает. Но девочка уже не захлебывается. Только вздрагивает. Жюль лезет обратно в постель и торопливо накрывается.

– Вот тепло! Очень тепло! – шепчет он. – А это что? Лакрица?.. Ишь ты какая лакрица...

Ирме и лакрицу дали...

Жюль всовывает в рот лакрицу, все мокрую и теплую от смертоносной слюны Ирмы.

Лакрица сладкая. Жюль с удовольствием жмурится, жадно сосет и чмокает. Он потягивается, сворачивается. Тепло... Приятно...

«Сколько на полу крови... И живот уже не вздрагивает».

Уж Ирма не захлебывается, и уже не вздрагивает живот.

Нет, вздрагивает... Еще вздрагивает... Чуть, чуть...

Жюль напряженными глазами смотрит на голый живот умирающей.